

ШКОЛЬНАЯ



БИБЛИОТЕКА

Б. ЛАВРЕНЕВ  
РАЗЛОМ  
СОРОК ПЕРВЫЙ





Я советский писатель.  
Всем, что я мог сделать  
в литературе и что, может  
быть, еще успею сделать...  
      всем я обязан  
народу моей родины,  
ее простым людям,  
      труженикам,  
      бойцам и  
      созидателям.  
Они учили меня  
жить и мыслить  
      вместе с ними,  
они указывали мне дорогу,  
бережно поддерживали  
на ухабах, жестко,  
но дружелюбно наказывали  
      за ошибки...

*Из «Автобиографии». 1957 г.*



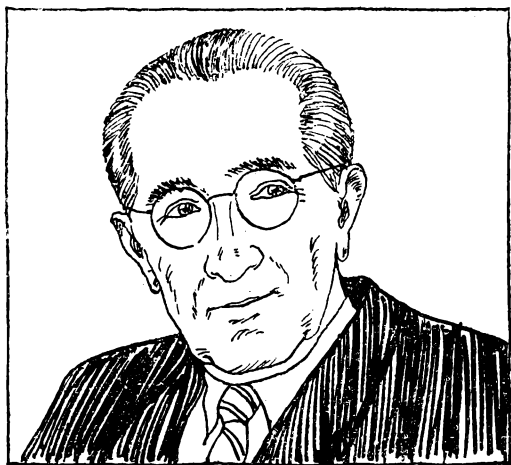
ЛЕНИЗДАТ • 1983



**ШКОЛЬНАЯ**



**БИБЛИОТЕКА**



*G. LaFrenck*

(1891 — 1959)

**Б. ЛАВРЕНЕВ**

**РАЗЛОМ**

**СОРОК ПЕРВЫЙ**

Тексты печатаются по изданию: *Лавренев Борис. Собрание сочинений в шести томах. М., Художественная литература, 1963—1965.*

**Лавренев Б.**

Л13      Разлом; Сорок первый. — Л.: Лениздат, 1983.—  
128 с., ил. (Школьная библиотека).

В настоящее издание вошли два произведения известного советского писателя — драма «Разлом» и рассказ «Сорок первый».

Завершают книгу автобиографические заметки «Короткая повесть о себе».

Л  $\frac{4803010102-132}{M171(03)-83}$  230—83

84.3Р7

# РАЗЛОМ

*Пьеса в четырех действиях*





## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Годун Артем Михайлович — председатель судового комитета крейсера «Заря», 32 лет.

Берсеньев Евгений Иванович — капитан 1-го ранга, командир крейсера, 52 лет.

Берсенева Софья Петровна — его жена, 52 лет.

Татьяна — сестра милосердия, 26 лет  
Ксения — эксцентричная девушка, 19 лет } дочери Берсенёва.

Штубе Леопольд Фёдорович — лейтенант, муж Татьяны, 30 лет.

Полевой — поручик } члены «Комитета защиты  
Ярцев — полковник } родины и свободы».

Швач } боцманы крейсера.

Еремеев }  
Первый мичман.

Второй мичман.

Первый  
Второй  
Третий  
Четвертый } матросы крейсера.  
Пятый  
Шестой

Пожилой матрос.

Часовой.

Радист.

Милицын — контр-адмирал.

Успенский — член ЦК партии эсеров и ВЦИК Совстov.

Петр Хваткин — делегат-черноморец.

Панов — член Центробалта.

Горничная.

Матросы в эпизодах.

Действие происходит в Кронштадте в июле — октябре 1917 года.

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Столовая в квартире Берсеневых. Послеобеденный час, переходящий в ясный закатный вечер. За накрытым к чаю столом сидят Софья Петровна, Татьяна и Штубе. Сквозь широкое окно в заднике видны желтеющее небо и крыши домов. Штубе читает «Русское слово». Софья Петровна у самовара вяжет кружево. Татьяна, облокотясь на руку, задумчиво смотрит в окно. За сценой слышны звуки рояля, кто-то все время бойко наигрывает модные легкие мотивчики.

Татьяна (*прислушиваясь*). Опять Ксения разводит свой шантан. От этой музыки лопаются нервы... (*Подвигает чашку*.) Мама, налей мне еще чашечку.

Софья Петровна (*наливая Татьяне, обращается к Штубе*). Лео, а вам налить?

Занятый газетой, Штубе не слышит.

Татьяна (*резко*). Лео, мама с тобой говорит.

Штубе. А?.. Что? Простите.

Софья Петровна. Чаю еще хотите?

Штубе. Попрошу... Извините, зачитался.

Софья Петровна. Что-нибудь интересное?

Штубе. О да... Чрезвычайно интересное. Вы помните, Софья Петровна, Домбровского?

Софья Петровна. Которого?

Штубе. Младшего... Который вышел на Черное море, Алешу.

Софья Петровна. Ну как же... Отлично помню. Такой ясноглазый, наивный мальчишка, ужасно милый...

Штубе. Да?.. Так вот я сейчас прочел, что этого милого мальчишку в Севастополе пьяная матросня швырнула в топку «Императрицы Екатерины»... Вытащили косточки.

Софья Петровна. Ох, боже мой! (*Откидывается на спинку стула, закрыв лицо ладонями*.)

Татьяна (*вскочила и вырвала у Штубе газету*). Это безобразие. Знаешь, что у мамы большое сердце... Как не стыдно! (*Подходит к матери и гладит ее по плечу*.) Мама. Не нужно. Не нервничай.

Софья Петровна. Дай воды.

Татьяна (*наливает и подает воду*). Выпей, мамочка, и успокойся.

Штубе. Сказать, что человека швырнули в топку корабля, — это безобразие?.. А сделать это, видимо, не безобразие.

Татьяна (*Софье Петровне*). Крепись... Приедет папа, застанет тебя раскисшей и тоже расстроится...

Штубе. Что же ты не отвечаешь?

Татьяна. И то и другое — безобразие. Но там дикая вспышка накипевших страстей, а здесь грубая бестактность по отношению к больному человеку.

Штубе. Благодарю...

Софья Петровна. Танюша, скажи мне — за что? Во имя чего? Ведь у этого мальчика мать! Как ей перенести?

Татьяна. За что?.. На это, мама, пожалуй, никто не ответит. Один платит за грехи всех.

Штубе. Это что же, такие прописные истины преподавались у вас на Бестужевских курсах?

Татьяна (*вспыхнув*). Послушай...

Штубе (*отпивая чай*). Кушаю и слушаю.

Татьяна. Клоун.

Штубе. Помилуй... Я? Клоун?.. Почему? Разве я кувyrкаюсь под дудочку матросни, подобно некоторым?

Татьяна. Кто эти «некоторые»? На кого ты намекаешь?

Софья Петровна. Ради бога, не ссорьтесь. Пусть хоть в доме сохранится видимость мира и покоя...

За сценой внезапно в очень быстром темпе заиграли «Пупсика».

Татьяна. Нет, это, наконец, невыносимо. (*Делает шаг к двери*.)

Штубе. А мне нравится... Ксана обнаруживает понимание духа эпохи. Зачем мучиться над Бетховеном и Шопеном? Это все буржуйские штучки, придуманные на пагубу пролетариата... То ли дело «Пупсик»... Его даже можно принять в качестве революционного гимна.

Софья Петровна. А Евгения все нет и нет... Зачем только он поехал? Вдруг... (*Пауза*.) С ума можно сойти от всего этого.

Татьяна. Ну что может случиться с отцом? К чему ты себя расстраиваешь?

Штубе (*иронически*). Бесспорно... О ком, о ком, а о капитане первого ранга Берсенева тревожиться не стоит. Всех нас переживет.

Татьяна. Что это за тон?

Штубе. Бог мой, как ты сегодня непонятлива. Чего ради бояться за Евгения Ивановича? Он в ладу с законами флотской республики. Он их на ручках носит, а они его. Взаимная политика обожания. Ну разве не умирительно, что командир крейсера русского флота гуляет сейчас с матросней по питерским мостовым, лужает подсолнушки и кричит: «Долой капиталистов!»

Татьяна. Может быть, ты повторишь эту гадость в глаза отцу или, по обыкновению, струсишь?

Штубе. Струшу?.. Трус не я... Трус — те, кто страха ради иудейска спасовали перед зверьем, вырвавшимся из клеток, кто ведет бесчестную и опасную игру в «товарищей»...

Татьяна. Ты смеешь так говорить об отце? Наглец!

Софья Петровна. Таня, Леопольд... Опомнитесь. Вы меня в могилу уложите.

Штубе. Не я начинаю, Софья Петровна.

Татьяна. Ты хочешь знать, кто трусы? Да?.. Так это ты и твои приятели, бежавшие с кораблей, как только немножко прищемили павлиний хвост вашего гвардейского величия. У вас даже не хватило мужества встретить опасность лицом к лицу и бороться за свое. Вы забились по домам и дрожите за свою шкуру... Храбрецы!

Штубе. Павлиний хвост. Шкура... Ты быстро овладеваешь демократическим жаргоном. Скоро ты пошлешь меня в веру, гроб и печенки.

Софья Петровна. Леопольд! Что за слова... Вы с ума сошли.

Татьяна (*не слушая*). И пошлю, если заслужишь... И не думай... (*Смолкает и прислушивается.*)

За окном возникает отдаленная музыка. Татьяна кидается к окну и распахивает его. Музыка врывается со словами песни:

Духом окрепнем в борьбе.  
В царство свободы дорогу  
Грудью проложим себе.

Вернулись, вернулись!.. Вон гвардейский экипаж... команда «Гангута»... А вот и наши... Вот отец... и Годун.

Штубе и Софья Петровна тоже подходят к окну. Песня близится:

Вышли мы все из народа,  
Дети семьи трудовой;  
Равенство, братство, свобода —  
Вот наш девиз боевой.

Дальнейший разговор между Софьей Петровной и Штубе идет под песню. Татьяна высунулась в окно и машет рукой.

Штубе. Какая трогательная пастораль... Сознательные республиканцы, распустив аршинные клеши, возвращаются с очередного скандала. И во главе сих полноправных граждан, под ручку с большевиком Годуном торжественно шествует потомственный дворянин, офицер флота и мой тесть...

Софья Петровна. Лео, я хочу серьезно просить вас — не раздражайте Таню. Я боюсь за нее и за вас. Она в нервной экзальтации. Я тоже не все понимаю в поступках Евгения, но уверена, что он поступает по долгу своей совести. А Таня его беззаветно любит.

Штубе. Но это не может обязывать меня также очертя голову безрассудно обожать Евгения Ивановича. Долг совести?.. Не знаю... Предавать офицерство, флот, Россию на растерзание этим...

Софья Петровна. Думайте, как хотите. Но поберегите Таню...

Штубе. Ах, до чего мне все это надоело!

Софья Петровна. Все образуется. Улягутся страсти, отшумят бури. Я верю в человечность.

Штубе. Здесь нужна не человечность, а пулеметы.

Софья Петровна. Это неумная злоба, Лео.  
(Пауза.) Надо сказать, чтобы Глаша подогрела самовар. Евгений, верно, смертельно устал и проголодался.  
(Уходит.)

На улице замирают последние слова песни:

И водрузим над землею  
Красное знамя труда.

Татьяна отходит от окна.

Штубе (*пересекает ей дорогу и берет за руку*).  
Таня.

Молчание.

Таня.

Татьяна (*взглянув на него*). Что, Лео?

Входит горничная и уносит самовар.

Штубе. Почему ты так переменялась, Таня? Что с тобой? У тебя нет для меня ни улыбки, ни человеческого слова. Ты третируешь меня. Можно подумать, что я твой заклятый враг.

Татьяна (*спокойно*). Пока нет...

Штубе. Пока?

Татьяна. Ах, о чем спрашиваешь, Леопольд? Ты изменился, а не я. Я не могу видеть тебя таким.

Штубе. Каким?

Татьяна (*резко*). Жалким... Живым трупом. Ты перестал жить. Когда я впервые увидела тебя, ты был сильный, молодой, держал жизнь в руках... А что теперь? Ты мертвец. (*Горячо.*) Неужели ты окончательно слеп и глух, Леопольд? Неужели ты не чувствуешь, что жизнь зацветает новыми зорями, что мир пахнет по-новому, кипит и бушует? Может быть, я и не понимаю всего до конца, но в каждом дне я чувую живое и освежающее дыхание бури. Чудесной бури. А ты? Ты полируешь ногти, меняешь воротнички и, валяясь на диване, бессильно брюзжишь на шторм. Ведь ты же моряк, Лео. Ты должен любить шторм.

Штубе. Романтика для детей. Учебники навигации советуют избегать плаванья в шторм. Кроме того, я люблю встречать штормы в чистых воротничках. Это наш морской обычай. А прачки заняты революцией.

Татьяна (*освобождая руку*). Какой дешевый парадокс. Ты ни во что не веришь, и в этом твоя катастрофа.

Штубе. А ты приемлешь эту жизнь? Разнузданные лозунги, убийства, свиные рыла в шелухе подсолнухов... Брр!

Татьяна. А за этим ты ничего не видишь?

Штубе. Нет.

Татьяна. Тогда ты окончательно мертв, Леопольд. Разнузданность, грубость и хамство я вижу не хуже тебя и ненавижу не меньше, чем ты. Но это перегорающая накипь вековой ненависти. За ней придет новое, Лео. И есть два пути — за или против.

Штубе. А третий?

Татьяна. Какой?

Штубе. Руки в карманы и наблюдать?

Татьяна. Это подлый путь.

Штубе. Таня...

Татьяна. Да, подлый. Можно идти с бурей или, если хватит смелости, против нее. Но пока ты равнодушно наблюдаешь из окон этого дома, в котором имя отца служит тебе щитом и гарантирует безопасность, ты с каждым днем теряешь мое уважение и мою любовь.

Штубе. Вот как? Ну что же. *(С болезненной усмешкой.)* Кому же ты собираешься передать свою любовь? Уж не кому-либо из этих героев нового мира?.. Скажем, Артемке Годуну, горлопану, олуху, очумевшему от радости, что удалось ненадолго захватить в свои лапы палку, которой его лупцевали?

Татьяна *(отшатнулась)*. Стыдись... Матросы имеют основание не любить тебя за твое обращение с ними. Но никто из них не позволяет себе таким тоном говорить о тебе.

Штубе. Вот как? Ты даже осведомлена в их мнениях обо мне? Интересно... Кстати, о Годуне. Прошу тебя прекратить эти нелепые занятия английским языком, который ему пристал как корове седло. И так уже из-за этого сивушного лорда в обществе идут ненужные пересуды.

Татьяна. Я в няньках не нуждаюсь. Я отвечаю за себя. А на сплетни твоих приятелей и их супруг не нахожу нужным реагировать. Я не эскадренная дама из гвардейского экипажа.

Штубе. Но ты еще моя жена. И если ты не хочешь внимать голосу рассудка и приличия, я сам окончу этот идиотский опыт сентиментального воспитания четвероногого.

Татьяна. Как?

Штубе. Просто спущу его с лестницы.

Татьяна. Ты?.. Годуна? Ха-ха-ха.

В комнату входит Берсенева. Он в походной форме, брюки в сапогах, на поясе палаш и револьвер. Белый китель запылен и измазан на рукаве. У Берсенева очень усталый вид. Татьяна, оборвав разговор, бросается к нему.

Папа, милый! Вернулся?.. Очень устал? Какой замученный! Бедняга. Долой эту сбрую, давай сюда. *(Расстегивает пояс, кладет все снаряжение на кресло и ведет отца к столу.)*

Штубе угрюмо отходит в сторону.

Садись.

Берсенов. Погоди, непоседа.

Татьяна. Садись без разговоров. Сейчас мать придет с чаем. Она тут исплакалась по тебе. Ужасы чудятся. Все думает, уж не убили ли тебя.

Берсенов (*оглянувшись, видит Штубе*). А, Леопольд! Здравствуй, мой милый.

Штубе (*сухо*). Здравия желаю, господин капитан первого ранга!

Берсенов (*внимательно взглянул на него, и по его губам пробежала легкая усмешка, Татьяна*). А вот и правда выходит, что любящее сердце вещун. Мать недаром беспокоилась. Мог вполне просто лечь костями посреди Невского.

Татьяна. Что ты? Каким образом?

Берсенов (*спокойно раскуривая трубку*). Н-да... Этакая, понимаешь, глупость и подлейшая история получилась. Как было приказано Исполнительным комитетом Советов, матросы вышли на демонстрацию без оружия. Один дежурный взвод имел винтовки, и то без патронов, просто для красоты. Пришли в Питер, высадились у Адмиралтейства, построились в ниточку и тихо, чинно, организованно пошли на Невский. На тротуарах масса публики, день чудесный, солнце, как в Евпатории. Настроение у всех веселое, поют... И вдруг у Публичной библиотеки слышу: откуда-то «та-та-так...» Пулемет. Сперва никто не понял... Думали, салютуют нам какие-нибудь чудаки. Сама знаешь, любит народ сейчас порох тратить... Но нет. Видим, упал один... другой... еще... Вся толпа вразброд, с криком, с воплями... Паника... А сбоку, с Садовой, вылетают казаки и давай крошить бегущих шашками...

Штубе. Наконец.

Татьяна. Ну, что же дальше?

Берсенов (*покосился на Штубе*). Да что ж... Годун и я собрали людей у угла Апраксина двора... Ну, и ясно, что матросы мгновенно озверели. Попробовали казаки сюда сунуться, так их уже чем попало встретили — торцами из мостовой, дрекольем. Двух с коней сбили, едва в клочья не разорвали. Только Годун и отстоял. (*Пауза.*) Скверно, милуша. Очень скверно. Сами роют себе могилу и доведут народ до неистовства. Кончится вторым Гельсингфорсом, только пострашнее.

Штубе. Ничего не будет. Скот нужно гонять кнутом и палкой.



Берсенов *(спокойно, но с внутренним гневом)*. Люди не скот, мой милый. Люди — человеки.

Штубе. Братишечки?.. Хуже скота. Безмозглое быдло.

Берсенов. То же самое они говорят о нас, офицерах.

Штубе. И вы поддерживаете в них это убеждение?

Берсенов. Напрасно, мой милый, ты лезешь на рожон и ищешь повода для ссоры. Я ссориться не расположен. Скажу тебе, что потока ненависти, скопившейся десятилетиями, я удержать не в силах. Но своим личным примером стараюсь доказать матросам, что не все офицеры заслуживают их осуждения... И тебе совету поступать так же...

Штубе. И с матросами толкать Россию в пропасть?

Татьяна. Леопольд, замолчи.

Берсенов. Погоди, Тата... А почему, милый мой, ты присваиваешь себе исключительное право спасать Россию? Уж в этом деле ты бы скромненько постоял в сторонке. Позволь нам, русским, самим с Россией справиться.

Штубе. Вы еще попрекаете меня тем, что я Штубе, а не какой-нибудь Тяпкин?

Берсенов. Попрекать не намерен, но вот что скажу. Было время, когда мы вас с чужбины к себе звали, когда были диковаты, не могли сами кургузых штанов кроить и косы помадой сусалить. В приказчики кликали вас да в портные, а вы мало-помалу, доброты нашей не поняв, захотели и лапы на наш русский стол положить. А вам за ним места не заготовлено. У стола стойте, а за скатерть мы сами садиться будем.

Штубе. Не понимаю, какое отношение это имеет к этому безобразию, к этой вахлацкой революции.

Берсенов. А самое прямое, мой милый. Старый хозяин немного вас распустил. А новый на место поставит. Народ нынче хозяйничать на свою землю пришел. Так если хотите ему послужить — служите, где он вам укажет и как укажет.

Штубе. Мы всегда служили России и государю вернее, чем многие русские.

Берсенов. Это как поглядеть... За русский рубль да за русскую десятину вы, пожалуй, крепко держались, потому что и рубль вашей марки повесче и десятина вашего гектара жирней.

Штубе. Евгений Иванович...

Берсенов. Не обижайся. Для пользы твоей говорю. Если действительно хочешь России служить, так служи по-честному и без лишних претензий. Нет у тебя для них основания... Поразмысли, да только не теряй времени. В обрез его осталось.

Штубе. Служить этому быдлу? Забыть честь и достоинство офицера и дворянина? Покорно благодарю.

Берсенов. Постой. Что ты выдумываешь?

Штубе. Не я один так думаю... Весь флот... Все офицерство.

Берсенов (*резко*). Офицерство — не весь флот... Понял? Офицерство тоже разное. Был Нахимов, а были зверюги. Были Бестужевы, Суханов, Шмидт, и были Вирены с Дубасовыми. Я готов думать, что быдло те, кто, цепляясь за дурацкие побрякушки и лакейские привилегии, забыл о долге командиров и позорно бросил корабли на произвол стихии.

Штубе. Когда матросы стали скатывать палубы нашей кровью...

Татьяна. Довольно, Леопольд. Папа устал, и не зачем его волновать. Уходи...

Штубе. Уйду. Я скоро совсем уйду. Противно есть хлеб, который пахнет изменой. (*Быстро уходит.*)

Татьяна. Негодяй.

Берсенов. Оставь. Бедный малый. Трудная вещь — преодоление традиций.

Татьяна стоит, стиснув кулаки, сжав губы. Входит Софья Петровна и горничная с самоваром. Берсенов встает навстречу жене и целует ей руку. Горничная, поставив самовар, уходит.

Здравствуй, старушка.

Софья Петровна. Как ты бледен. Утомился?

Берсенов. Немножко есть. Тата, выпьешь со мной чайку?

Татьяна присаживается. В дверь стучат.

Софья Петровна. Входите, входите, можно.

Входит Годун в белой форме, с револьвером на поясе.

В руках портфель и бескозырка. Голова забинтована.

Годун. Вечер добрый. Не прогоните?

Софья Петровна. Ну что вы! К самому чаю. Наверное, тоже устали и голодны?

Годун. Эге ж. Костяк ломит, ровно на камнях валялся.

Софья Петровна. Садитесь, пожалуйста.

Годун. Благодарствуйте. Добрый вечер, Татьяна Евгеньевна.

Татьяна. Добрый вечер... Что у вас с головой, Артем Михайлович?

Годун. До головы дойдет... А сперва хочу спросить, не одолжите ли щеточки робу почистить. Запылился насквозь. Да вот еще хорошо бы форштевень сполоснуть.

Татьяна. Форштевень?

Годун (*смеясь*). Ну, по-штатскому — портрет умыть.

Софья Петровна. Идите за мной, Артем Михайлович, я вас провожу в ванную. Там и щетка есть.

Софья Петровна и Годун выходят.

Берсенов. Тата, набей-ка мне трубку.

Татьяна (*берет трубку и набивает*). Папа, ты не сердись на Леопольда. Он сошел с рельсов.

Берсенов (*после паузы*). Горько мне за тебя, Тата. Так и остался Леопольд опереточным лейтенантом, моряком с Елагинской стрелки. Сняли погоны, отняли чинопочитание — и нет человека. Был мундир, а под мундиром гнилушка. Дунь — пыль посыплется. И вряд ли выздоровеет.

Татьяна (*медленно*). Не выздоровеет — отрежу.

Берсенов. Жаль... жаль. Не этого я для тебя хотел.

Возвращаются Софья Петровна и Годун, который на ходу приглаживает волосы.

Годун. Вот здорово окатился. Просто заново на свет высочил. (*Садится к столу.*) Что это вы, Татьяна Евгеньевна, будто невеселы сегодня?

Татьяна. Так, нездоровится немного. (*Меня тему.*) Ну, расскажите, что у вас с головой.

Годун (*нехотя*). Тоже так... От казачков нездоровится.

Татьяна. Неужели ранили?

Годун. Ну, ранили — это много сказать. Полоснули по коже, до кости не дорезали.

Татьяна. Так вам нужно хорошую перевязку сделать.

Годун. Спасибо. Я в аптеку заходил, там перевязали толково. Да вы не беспокойтесь, чепуховое дело.

(Принимает от Софьи Петровны чай.) Весьма благодарен. (Засмеялся.) А знаете, Татьяна Евгеньевна, какого я сегодня труса спраздновал... аж опамятоваться не могу.

Татьяна. Как?

Годун. Верное слово — перетрусил, что вы думаете. Уж очень неожиданно все нагрянуло. Как начался на Садовой этот пулеметный треск, кто-то из братвы и завопи как оглашенный: «Робя, полундра! Спасайся, кто может!» А в таком разе стоит одному заорать, а сто голову теряют. Сыпнули все врозь, как горох по палубе. А я как бы обомлел. Хватанул вбок без разбору, налетел на что-то вроде мачты и вмиг по ней наверх, как на формарс по тревоге. Долез доверху и тут только сообразил, что занесло меня на уличный фонарь. Сажу на нем и так крепко обнял, словно мамашу после долгой разлуки. Тут уж меня смех взял. «Эх ты, дурень, думаю, тебя же на фонаре со всех сторон насквозь видеть». Торчу в самом деле, как голик на вехе. Ну, мигом сполз с фонаря, плюхнул на четвереньки, бочком, бочком под стенкой дополз до галерен Гостиного двора и там пришвартовался. Сел и хохочу над собой, аж слезы проступают. А народ, какой рядом набился, зенки пялит. Думает, что свихнулся кронштадтец от страха. Потеха! (Хохочет.)

Татьяна. Веселиться особенно нечего. Хорошо, что уцелели.

Годун. Уцелел. (Помрачнев.) А вот двоих ребят совсем там оставили. Ни за понюх. А какие ребята — золото. Что ж, ладно. Запомним теперь навек, как «демократы» матросиков угощали. Придет время, заплатим с процентами... (Отпивает чай.) А пожалуй, Евгений Иванович, придется нам с вами на крейсер поспешить. Там поди дым коромыслом — митингуют, бузят. Уж очень озлилась братва на такую подлость. Надо поглядеть да успокоить.

Берсенев. Да-да... Поедем. Вот только переоденусь.

Софья Петровна. Опять уходишь?

Берсенев. Ухожу, старушка. Ничего не поделаешь. А ты не волнуйся. Дай-ка мне белье сменить. Насквозь пропылился и грязен, как после угольной погрузки. (Уходит с Софьей Петровной.)

Годун. Беспокоится ваша мамаша, Татьяна Евгеньевна.

Татьяна. Естественно. Наговаривают кумушки всяких ужасов. Того убили, того утопили, того арестовали... Вот и ходит весь день, как пуганая наседка. *(Пауза.)* Поберегите отца, Артем Михайлович.

Годун. Мне и беречь не надо. Сама братва его пуще криют-камеры бережет. Второго такого ведь не найти...

Татьяна. Пока он с вами, мне не страшно. А вот в одиночку... На улицах чужие матросы, которые его не знают.

Годун. Ну, коли кто пальцем тронет, башку начисто отвинтим. А кроме того, мы его без провожатых не пускаем. Две няньки с пушками с каждого боку. *(Улыбнулся. Пауза.)* А урок последний, что вы мне задали, Татьяна Евгеньевна, я все ж таки одолел. Хоть и времени не было и пальцы не слушают, а одолел. *(Роется в портфеле.)*

Татьяна *(смеясь)*. Смешно видеть моряка с портфелем.

Годун. Это теперь нам взамен кортика положено. Один такой сухопутный моряк моду завел... Ага, вот...

Татьяна *(берет у Годуна листок бумаги)*. Ой, какие кляксы... Ну, впрочем, все как будто верно... О нет. Вот тут наврали. Здесь ведь фраза в вопросительной форме, а вы перевели утвердительно. Не тот смысл получился.

Годун. Вот леший его порви... Все равно одолею.

Татьяна. Кстати, Артем Михайлович, я все хочу спросить: зачем, собственно, вам английский язык в такое время?

Годун *(настороженно)*. А что?

Татьяна. Просто любопытно.

Годун *(угрюмо)*. Извините, почудилось мне, Татьяна Евгеньевна, будто спросили вы с усмешкой. Так много благодарен за труды, а больше утруждать не стану.

Татьяна. Годун, что это значит? Вы в своем уме?

Годун *(зло)*. Боюсь я всегда этого. Сызмальства боюсь. Чудится мне всякий раз барская небрежка к серому человеку. Куда ты, мол, дубина стоеросовая, выше себя лезешь.

Татьяна. Артем Михайлович, очнитесь. Вот чудак.

Годун. За чудачество прошу прощенья. А коли хотите всерьез знать, охотно скажу. Вот нынче посадила

меня революция вроде как вторым командиром на корабль. А какая у меня к тому закладка есть? Коров в деревне пас да два года на заводе слесарил. А я за корабль теперь перед всем народом в ответе. Мне не то что один язык знать надо, а десять. Вот у вас сижу — одним языком разговаривать надо. С эсерами схватись — другой в ход пускай. С меньшевиками — третий. С офицерами — четвертый. А чтоб за дело отвечать, его понимать до корешка надо. Таких офицеров, как ваш папаша, которым душу доверить можно, раз два и обчелся. За остальными волчий глаз нужен. Вот, скажем, ведет штурманец корабль, а черт знает, что у него за думка. Может, на камни посадит, а может, и того хуже. Нужно, значит, карты да лоции разбирать. А карт у нас много английских. Офицерня по паркетам шаркала, а карты сделать свои не удосужилась. Вот и стою я иной раз в рубке перед картой осел ослом и сам себя крою: «Хамло ты, хамло серое. Сколько тебе еще в башку грузить надо, чтоб ты человеком стал, чтоб ты перед Лениным себя оправдать мог».

Татьяна. Скажите, Артем Михайлович, вы Ленина видели?

Годун. Как вас... Помню, приехал в Питерский комитет сдавать георгиевские кресты, что на «Правду» морячки жертвовали. Прихожу во дворец Кшесинской, а там народу — как на рынке. Толкался, толкался, никто не принимает. А тут из боковой двери аккурат товарищ выскакивает. Из себя небольшой, бородачка чуть с рыжинкой, взгляд быстрый. Я его за руку: «Да скажи хоть ты, браток, куда мне с крестами податься? Целый ведь мешок навалили. Умаялся таскать». Он меня за ручку и поволок в угол до столика, где другой товарищ сидел. «Займитесь, говорит, моряком, расспросите, как у них в Кронштадте, снабдите литературой». Выпалил все скороговорочкой и убежал. А между прочим, буква «р» у него во рту, как шарик в свистке катается. Я товарища спрашиваю: «Это кто такой шустрый?» А он мне: «Владимир Ильич... Ленин». Так я, поверьте, чуть этого парня не разорвал за то, что он мне сразу не сказал.

Татьяна. А как же вы сами не узнали?

Годун. Вот то-то и есть. Портрет видел, да только никогда не думал, что он такой свой...

Пауза.

Татьяна. Что вы на меня так смотрите?

Годун. Да так... В прошлый раз обещали вы мне, Татьяна Евгеньевна, книжку...

Татьяна. Верно. Посидите, я сейчас принесу.

Татьяна уходит. Из другой двери входит Штубе, видит Годуна за столом и со злостью зашелкивает портсигар, из которого доставал папиросу. Годун оборачивается.

Годун (*сидя*). Здравия желаем, господин лейтенант!..

Штубе молча смотрит на Годуна.

Здравствуйте!.. С вами говорю. Или не слышно?

Штубе. Вы не считаете нужным встать, разговаривая с офицером?

Годун. А чего вставать? Находился нынче — отдыхаю. Да и не по службе я тут.

Штубе. Заткнитесь.

Годун (*смешиливо*). Да что вы все так коротко: «Встать!», «Заткнитесь!» Я с вами по-хорошему, а вы каркаете.

Штубе. Не забывайте, Артем.

Годун. Михайлович по отчеству, коли забыли... А только разве ж я забываюсь? Люди мы, конечно, разные. Только и сходства, что одной дорогой на свет попали. А впрочем, вас, верно, доктор принимал, а меня мамаша в поле родила да сама серпом отрезала.

Штубе (*вспылив*). Молчать, скотина!

Годун (*вскочил*). Алеш-ша, ша! Под мост захотелось?

Штубе (*вне себя*). Вон отсюда, хам! (*Хватает Годуна за плечо.*)

Годун. Убери лапу, сука, а то двину куда не хочешь. (*Стискивает руки Штубе.*)

В этот момент появляется Татьяна с книгой и, сразу поняв, что произошло, бросается между мужем и Годуном.

Татьяна. Что это? У нас в доме?.. Лео, перестань сейчас же, слышишь! Годун, оставьте его... Я вас прошу, оставьте.

Годун с усмешкой отпускает Штубе, тот стоит, дрожа от бешенства. В дверях показывается Ксения в очень открытом платье из серо-голубого шелка. В руках у нее несколько роз. Она, незамеченная, стоит минуту на пороге и разражается хохотом.

Ксения. Mon Dieu, mon Dieu! Qu' est-ce que je vois?...<sup>1</sup> Какой героический пейзаж! (Поет.) «Враги!.. Давно ли друг от друга их жажда крови отвела?»

Татьяна (обернувшись). Ксения!.. Что тебе здесь надо?

Ксения. Une question étrange<sup>2</sup>. Неужели в мое отсутствие в нашей квартире совершен переворот, учрежден Совет и мне, как несознательному элементу, вход воспрещен?

Татьяна. У тебя нелепая манера всегда являться не вовремя, как оперный черт из люка.

Ксения. Я?.. Черт?.. Не может быть!.. Лео, похожа я на черта?.. Лео!.. Ну, вижу, от вас толку не добьешься... Вождь пролетариата и непобедимый красный адмирал Годун!.. Скажите вы: похожа я на черта?

Годун (свирепо). Зачем?.. Вы барышня что надо.

Ксения. Ah!.. (Делает реверанс Годуну.) Je vous remercie bien, excellence<sup>3</sup>. Лео, учитесь искусству современного комплимента. (С размаху садится в кресло-качалку.) Ну, расскажите мне что-нибудь веселенькое. Что, например, здесь произошло? Романтическая дуэль или политический конфликт? Что же вы воды в рот набрали? Кто яблоко раздора? Может быть, я? Да развяжите же языки! Годун, отвечайте: могу я быть причиной роковой схватки?

Годун (не глядя, мрачно). Может!

Ксения. Фу, как мрачно!

Татьяна. Ты бы лучше ушла.

Ксения. Вот еще! Мне здесь хорошо. «Пред испанкой благородной двое рыцарей стоят». (Указывая на Штубе.) Лео, правда, никудышный — прибалтийский эрзац. Зато Годун «что надо», по его терминологии.

Татьяна. Ксения! Удержи язык!

Ксения. Есть! Приказано удержать язык.

Входят Берсенов и Софья Петровна.

Берсенов. Вот я и готов. Отправляемся.

Годун. (с облегчением). Едем... Будьте здоровы, Татьяна Евгеньевна.

Татьяна. Всего хорошего. Не забудьте книжку. (Подает.)

<sup>1</sup> Боже мой, боже мой! Что я вижу?.. (Франц.).

<sup>2</sup> Станный вопрос (франц.).

<sup>3</sup> Благодарю вас, ваше сиятельство (франц.).



Годун. Спасибо. Из головы вылетело.

Ксения. Красный адмирал, а мне «до свидания»?

Годун. До свидания, барышня.

Ксения. Штраф! Не барышня, а товарищ.

Годун. До свидания, товарищ барышня.

Берсенов. До ночи, дети. Леопольд, будь любезен появиться завтра на крейсере. Нужно проверить минное имущество.

Штубе. Я не могу. Я нездоров... Пусть без меня.

Берсенов. Ну, это извини, мой милый. Не настолько ты нездоров. И пока я командую кораблем и не списал тебя, будь добр нести службу нормально. Не подавай дурного примера. А о болезни подай рапорт. Направим на комиссию. Насильно держать не станем. *(Уходит, сопровождаемый Софьей Петровной.)*

Годун *(следуя за Берсеновым, оборачивается в дверях к Штубе с презрительной усмешкой)*. Вы, может, ваше высокоблагородие, матросиков опасаетесь? Так не бойтесь. Матросики вам зла не сделают. Старая хлеб-соль не забывается. Милости просим. *(Скрывается за дверь.)*

Сжав кулаки, Штубе рванулся за ним, но, остановленный взглядом Татьяны, в бешенстве топнул ногой и убежал.

Ксения *(раскачиваясь в кресле, мурлычет)*.

Я не такая, я иная.

Я вся из блесков и минут,

Во мне живут истома рая,

Интимность, нега и уют.

Объясня хоть ты, Танечка, что я имела удовольствие лицеизреть? Бой царского и революционного флота или сцену ревности?

Татьяна. До чего ты глупа! Какая ревности!

Ксения. Мерси за любезность, но, по-моему, Лео ревнует тебя к Годуну. А Годун действительно, кажется, того...

Татьяна. Господи! Слушать тебя противно.

Ксения. А ты не слушай. Это просто мысли вслух. Я вот сама думаю — не влюбиться ли в Годуна? Что-то скучно стало. Чего-то хочется. Помнишь, у Гиппиус: «Я хочу любви небывалой, любви не мужской и не женской».

Татьяна. Дура!

Ксения. Допустим... Я же не училась на курсах. Mais je vais vous dire, ma chère<sup>1</sup>, мне жаль смотреть, как вы закидаете с таким мужем, как Лео. Это же не человек, а сушеная ревельская салака...

Татьяна. Довольно!

Ксения (*встает с кресла*). Хорошо! Я уйду! (*Идет и оборачивается в дверях*.) Подумай! Принимая во внимание развитие событий, советую тебе сближаться с демократией. (*Со смехом исчезает*.)

Татьяна (*после паузы, задумчиво*). Тяжело становится в нашем доме. Тяжело... И, может быть, придется уходить, пока не рухнули стены.

З а н а в е с

---

<sup>1</sup> Но я вам скажу, моя дорогая (*франц.*).

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Ют крейсера «Заря». Слева сцена замыкается кормовым флагштоком, на котором еще нет флага. У флагштока стоит часовая. На палубе идет приборка. Справа, у каземата 155-миллиметровой пушки, заложив руки за спину, наблюдает за приборкой первый мичман. Через палубу идет шестой матрос с всклокоченным из-под бескозырки лихим чубом, с папироской в зубах. На середине палубы он, цыкнув, сплевывает слюну и бросает папиросу.

Первый мичман (*вежливо и нерешительно*). Товарищ матрос!

Шестой матрос. Чего?

Первый мичман. Все-таки неудобно бросать окурки на палубу. Вы же видите, что товарищи прибирают, а вы грязните.

Шестой матрос (*нагло*). А не нравится — подберешь. Ноне не царский режим, когда мы за вами дермо носили.

Входит Еремеев, останавливается позади шестого матроса и слушает.

Первый мичман. Однако странно. Я не помню, чтобы вам когда-либо приходилось подбирать с палубы наши окурки. Мы никогда не позволяли себе швырять их на палубу.

Шестой матрос. Мало там что... А теперь подберешь. Теперь наша власть тут. Захотим — заставим языком палубу слизывать.

Первый мичман. Я просто не понимаю.

Еремеев. И понимать не стоит, господин мичман. Разрешите, я с товарищем по-дружески поговорю. (*Подходит к шестому матросу.*) Ну, ты, анархия задрипанная, подбери сей минут окурков.

Шестой матрос. А ты откуда взялся? За старое принимаешься, шкура, офицерская подстилка?

Еремеев. Слышал, что сказано... подбери.

Шестой матрос. А то?

Еремеев. Я тебе не офицер. Я тебе сперва зубы запломбирую, а потом еще к Годуну на разговор поведу. Наплачешься... Подбирай!

Шестой матрос. Это свобода называется. Сменили кукушку на ястреба... *(Нагибается и подбирает окурок.)* Думаешь, спугался я твоего Годуна...

Еремеев. Спугался не спугался, а плыви отсюда подобру-поздорову, не мешай людям работать. Живо!

Шестой матрос, ворча, уходит.

Первый мичман. Спасибо за помощь, товарищ боцман. Прямо нет никакой возможности служить с такими людьми.

Еремеев. А вы тоже, господин мичман, бабой не будьте. Если вы такие церемонии разводить будете, так что ж это из флотской службы получится, я спрашиваю? Кабак! А нам нужно, чтоб флот своей гордости не терял. Еще послужить придется. *(Убирающим палубу.)* Ворочайся проворней, черти морские! Сказано, чтоб к девяти крейсер как лаковая шкатулка был. Эх, линьков на вас, собачьих детей, нет! Свобода! Чтоб вам с ней лопнуть, три фала вам в ноздри.

Третий матрос. Ты что это так расходился, Еременч? Видать, вчера напрасно на бережок сходил?

Еремеев. То есть что это значит — напрасно?

Третий матрос. Хотел за гюйс залить, а боцманша сама всю ханжу до тебя выпила?

Еремеев. Ты у меня потрепли языком, потрепли... Ты знаешь, где у меня ханжа водится? Или в мой буфет заглядывал?

Четвертый матрос. А шел бы ты, Еременч, гулять подале. Мы ж и так верим, что ты спиртного не потребляешь, одними сливками балуешься.

Еремеев. Это ты в каком смысле?

Четвертый матрос. Да в самом обыкновенном... Был я это, братки, третьего дня на берегу. Иду мимо доков, а навстречу, гляжу, Еременчева боцманша коровку хворостиной гонит. «Что это, Власьевна?» — «Да вот, говорит, третью коровку прикупила, потому как ныне революция, мой-то, может, в начальство выйдет, так теперь ему простым молоком и питаться зазорно, пущай сливки пьет».

Гомерический взрыв хохота на палубе.

Еремеев. Разрази вас гром, сволочи языкатые!  
(*Плюнув, уходит.*)

Пятый матрос. Разыграли караса.

Уборка продолжается. Несколько матросов ташат через сцену тяжелый перлинь.

Первый матрос. Пошел... Дружней, тащи-поглядывай.

Второй матрос (*драящий медь на перилах люка, запекает*).

Обрезает Дунька косу,  
Дает ленточку матросу,  
Эх, Дунька, Дунька я,  
Дунька, ягодка моя.

Все подхватывают припев. Запевала пронзительно свистит.

Четвертый матрос. Ты что рассвистелся, соловей-разбойник? Ровно флагманская сирена. Переполох засвистываешь?

Третий матрос. Какой переполох?

Четвертый матрос. Запоматовал? Память на заячьем хвосте забыл? А как давеча в Питере на демонстрации от пулемета салом пятки намазывал. Если б тебя за клеш не словили, пожалуй, до самого Кронштадта по воде пехом, как Иисусе Христе, пропер бы.

Третий матрос. Катись, Лосев, братишка, ливерной колбаской до Пятой Спасской. А то как бы я тебе штаны смолой не начинил.

Четвертый матрос. У меня хоть штаны остались, а вот ты расскажи, как на барахолке казенную робу сплавил.

Третий матрос. Казенная роба — не твоя хвороба. Плаваем ершом, ходим нагишом, пьем квасы-лимонады и жизни рады.

Пятый матрос. Ну и стервец, рад язык об зубы чесать.

Четвертый матрос. А ты, дядя, не слушай, помирай скорее.

Справа выходят второй мичман и направляется к первому мичману.

Второй мичман. Приветствую вас, Левочка. Как вахтилось?

Первый мичман (*взглянув на часы*). Послушайте, милорд. Это неслыханное нарушение добропоряд-

дочности и джентльменства. Вы изволили опоздать со сменой вахты на десять минут. Вы читали когда-нибудь морское евангелие от Станюковича?

Второй мичман. Устарело, мой друг. Вы не сознательный гражданин Российской республики, а ретроград и шаблонный мичманок. Кто же теперь выходит на вахту вовремя. Оставьте препирания и сдавайте вахточку.

Первый мичман. Принимайте на здоровье. Все гладко. На море полный штиль, а в Кронштадте и, между прочим, в Петербурге — революция. Шесть котлов под парами, программа социал-демократов без изменений, на бакштове катер и шестерка, а вечером в Луна-парке нас ожидает мисс Лили...

Второй мичман. Мерси вас. Вахту принял.

Первый мичман. Обратно вас. Вахту сдал. А по поводу несения службы согласно уставу обращаю ваше внимание на революционных матросов вверенного нам корабля. Они, не в пример вам, милорд, проявляют неслыханное рвение к службе.

Второй мичман (*вполголоса*). Понимаешь, я и сам уже несколько дней замечаю сей пыл, и, признаться, он меня даже пугает. Казалось бы, все отменено — от бога до здравого смысла. Полная свобода. Хошь — живи, хошь — уходи к бабе в деревню. А матросики начали служить, как пуделя. В чем тайный смысл такого фокуса? Царю служить не хотели. Керенскому — тем паче. И вдруг стали надрываться. Видимо, появилась охота служить... Но кому же? Понять не могу. На время не стоит труда, а вечно служить невозможно.

Первый мичман. Вы близоруки, милорд. Хотите, открою секрет, кому желают служить матросики? Совсем задаром. Для друга.

Второй мичман. Горю любопытством.

Первый мичман. Большевикам, сэр... Мы еще с вами увидим необыкновенные вещи. Рекомендую подумать... А я — спать. А ревизерчиа, миа кара...<sup>1</sup> (*Уходит.*)

Второй мичман (*задумчиво*). Большевикам... А пожалуй, верно, черт возьми. Интересно в таком случае, куда мы приедем?

Голос сигнальщика за сценой: «На адмирале „ЩА-ИЖЕ“ до половины. Остановить приборку».

---

<sup>1</sup> До свидания, моя дорогая.

Еремеев (*входя, свистит на дудке сигнал № 13*).  
Окончить работы! Стать к борту!

Матросы бросают приборку и становятся к борту.

Сигнальщик (*появляясь*). На адмирале до места.  
Второй мичман. На флаг и гюйс.

Сигнальщик бежит к кормовому флагштоку. Из люка подымается  
Берсенов.

(*Берет под козырек и командует.*) Смирно! Господа  
офицеры!

Берсенов. Доброго утра, товарищи матросы.

Все. Здравия желаем, господин капитан первого  
ранга!

Еремеев. На адмирале флаг подымают.

Второй мичман. Разрешите, господин капитан  
первого ранга?

Берсенов. Прошу.

Второй мичман. Флаг и гюйс поднять!

Засвистали дудки, запели горны. Матросы сняли бескозырки. Офицеры взяли под козырек. Сигнальщик подымает на кормовой флагшток флаг. Пауза. В этот момент опять появляется шестой матрос. Он лениво идет вдоль строя в бескозырке. Берсенов не видит его, но Еремеев заметил и погрозил кулаком.

Накройсь... Продолжать приборку.

Все занимают прежние места, продолжая приборку.

Берсенов. Не задерживайтесь. Скорей кончайте.  
Первый матрос. Стараемся, Евгений Иванович.

Берсенов спускается в люк. Второй мичман уходит.

Еремеев (*подойдя к шестому матросу*). Опять двадцать пять? Я тебя, анархия, честью просил человеком быть. Не хочешь — пеняй на себя.

Шестой матрос. А ежели я желаю быть свободным?

Еремеев. Вот скоро будешь. (*Уходит.*)

Сигнальщик. Катер идет. Фалрепные, на трап!

Четвертый матрос. Кого черти несут?

Сигнальщик. Немецкая образина катит.

Пятый матрос. Какая?

Сигнальщик. Одна у нас по реестру и значит. Минный офицер, господин фон Штубе.

Пятый матрос (*останавливая бегущих на трап фалрепных*). Качай назад! И так хорош. Сам вылезет.

Первый матрос. И чего ездит?

Четвертый матрос. Башке на плечах скучно. Таскается, все клянчит, чтоб по болезни списали.

Третий матрос. Дождется подарка — свежей припарки, как без дальних слов спишут в Могилев.

Пятый матрос. Чистый раешник, матери твоей черт! И откуда только слова берутся?

Третий матрос. Пузырь у меня такой под печенкой привязан, дядя.

За бортом шум машины подошедшего катера. На палубе появляется с трапа Штубе. Матросы молча иронически провожают его взглядом. Он быстро проходит, ни на кого не глядя, за сцену.

Первый матрос (*свистнув вслед*). Фу-ты ну-ты, ножки гнуты.

Четвертый матрос. Павлин сиамский.

Пожилой матрос. И откуда только злоба человека? Идет мимо и морду воротит, ровно его травит, на матроса гляючи. А в глазах зелен огонь: с потрохами сожрал бы, кабы сила.

Четвертый матрос. Бог не выдаст, Штубе не съест.

Третий матрос. Кишка тонка — не варит моряка... (*Запевает.*)

Носи ленточку, матрос,  
Не забудь девичьих слез...

Все подхватывают.

Эх, Дунька, Дунька я,  
Дунька, ягодка моя.

Из-за оружейного каземата выходит Швача.

Швача. Что горло дерете, товарищи, такими песнями? Одна похабщина. Никакого гражданского сознания. Теперь надо революционные песни петь, высказывать приверженность к свободе.

Четвертый матрос. Да ну? Любопытно узнать — какие такие песни? Расскажи, просвети нас, дураков царя небесного.

Матросы выжидательно смотрят на Швача.

Швача (*нерешительно*). К примеру... «Марсельеза».

Четвертый матрос. Так... Еще?

Швача. «Варшавянка».

Четвертый матрос. Тоже хорошо... Дальше...



Швач запнулся.

Третий матрос (*подсказывает*). «Коль славен».  
Швач (*машинально*). «Коль славен».

Взрыв хохота.

Третий матрос. Еще «Боже, царя...».

Швач (*озлясь*). Ну, еще там разные... А кобели-  
ные пакости горланить стыдно.

Первый матрос. Да мы что же... мы так...

Швач. То-то, что так. Никакого понятия. Серость  
дорежимная.

Третий матрос. Сам ты серость. Чего-то, брат,  
когда ты «Марсельезу» тянешь, больно она у тебя на  
«Спаси, господи» сбивается.

Швач. Что с дураком говорить. (*Уходит.*)

Пятый матрос. Ой, не люблю сукина сына. При  
царе перед офицерами из кожи лез, в кондукторские  
шкуры пробирался, а теперь в революционеры опреде-  
лился.

Четвертый матрос. Укусная стерва. Мать и  
отца продаст за грош.

Из-за орудия выходят Годун и Еремеев.

Годун. Разводку на работы сегодня по этому на-  
ряду делать. (*Дает Еремееву листок.*) Понимаешь, в  
чем загвоздка?

Еремеев. Вроде как не соображаю.

Годун. Эсеровщину всю в низы загоняем, чтобы  
сядела там и не бузила. А на палубе побольше наших.  
Меньшевики пусть тоже на палубе болтаются. От них  
шуму много ждать нечего. Овечьи натуры.

Еремеев. Толково придумано.

Годун. Давай! Пройдем на бак, поглядим.

Годун и Еремеев уходят.

Из люка подымается Берсенев и Штубе. Они проходят к  
каземату. Берсенев присаживается на кнехт, Штубе стоит перед ним.

Берсенев. Так в чем же дело, мой милый?

Штубе. Я настаиваю, Евгений Иванович, на спи-  
сании. Я действительно болен, а помимо того, не желаю  
и не могу служить в такой обстановке. Это противно  
моей чести.

Берсенев. Что у тебя за особая честь такая?  
Я служу, другие служат...

Штубе. Это их дело... Я не желаю ходить на по-  
воду у комитетской банды.

Пятый матрос (*прислушиваясь, третьему*). Слышал?

Третий матрос. Собака лает — наш брат чихает.

Берсенов. Но даже твое списание все равно придется провести через комитет.

Штубе. Я только прошу скорей. Этим прохвостам нравится издеваться... Они нарочно будут тянуть. А для меня каждый день здесь — пытка.

Берсенов. Как хочешь. Я попрошу ускорить. Я пытался задержать тебя в твоих же интересах.

Штубе. В моих?

Берсенов. Я хотел сохранить тебе жену.

Штубе (*вспыхнув*). Прошу не говорить мне об этом. (*Поворачивается и идет к люку.*)

Швач (*догоняя его, вполголоса*). Ваше высокоблагородие... ваше высокоблагородие.

Штубе (*остановился у люка*). В чем дело? Да не тычесь высокоблагородием. Услышат.

Швач. Слушаю, ваше высок... господин лейтенант. Так что с кондукторами у меня был разговор.

Штубе. Ну и что?

Швач. Кондукторы, конечно, понимают и так что сочувствуют в общем и целом, но только сами ничего заводить не будут. «Мы, говорят, нитральны, а коли господам офицерам потрафит, так вмиг присоединимся».

Штубе. Сволочь трусливая!

Швач. Точно так, господин лейтенант. А между прочим, если раздумать, так ихнее положение тоже не сладкое. Ни матрос, ни офицер. Тая сторона жметь, этая давить, вертись, как жук на палочке. Для кого свобода, а для боцманов и кондукторов одно горе и никаких прав.

Штубе. Ты что это о правах заговорил? Тоже заразился? Разбольшевичился? Смотри.

Швач. Виноват, господин лейтенант. Я про службу твердо понимаю, какое в ей наше место.

Штубе. Ну и хватит. Ступай... Если будет что-нибудь новое, особенно если большевики из Петрограда нагрянут, приходи на квартиру.

Швач. Есть, господин лейтенант!

Штубе уходит. Берсенов, искоса наблюдавший сцену, окликает Швача.

Берсенов. Боцман!

Швач. Есть, господин капитан первого ранга!

Берсенов. Ваше место при уборке где? На баке? Почему вы толчетесь здесь? Почему не смотрите за работами?

Швач. Виноват, господин капитан первого ранга... прошелся.

Берсенов. Марш на место!

Швач уходит под смех матросов.

Третий матрос. Ошпарили, сукино вымя.

Берсенов. Поторапливайтесь, братцы, поторапливайтесь.

Пятый матрос. Враз кончаем, господин капитан первого ранга.

Входит Годун.

Годун. А я вас, Евгений Иванович, внизу искал. Десятый час. Скоро гостей встречать.

Берсенов. Да. Вы оставайтесь наверху, Артем Михайлович, а я еще хочу по низам пройти. Чтоб все было в порядке и блеске, вопреки слухам о плавучей помойке и сумасшедшем доме.

Годун. Поднесем мы им сюрпризец. Они, надо полагать, в калошах и с зонтиками приедут, чтоб в подсолнуховой лузге и помоях не потонуть, а мы им нос утрем.

Берсенов уходит вниз.

А ну, братцы, кончай работу... Баста! Давай ко мне! Потолковать надо.

Матросы собираются вокруг Годуна. Он садится на крышку люка.

Пятый матрос. Об чем разговор, Артем?

Годун. Обо всем помалу, а в первую голову вот о чем: выходит, товарищи, такое положение, что надо нам призадуматься. Контрреволюция опять голову подымает. Только недавно Корнилову жару дали, так теперь другим не терпится. Временное правительство вожжу затягивать хочет, так надо, чтоб эта вожжа не нам шею захлестнула, а буржуазии под хвост попала...

Четвертый матрос. Определенно! Не вожжу бы им, а репей.

Годун. Вот постреляли нас на Невском ни за что ни про что, а теперь нас же еще на весь мир клеветой поливают.

Пятый матрос. Это как же понимать?

Годун. Распустили слух, что мы бунтари и изменники, что балтийцы присягу забыли и немцам Россию продают, что с фронта мы корабли увели, Милюкову проливов добывать не желаем. Эсеровщина из себя лезет, чтобы нашу флотскую семью, нашу кронштадтскую республику в гроб уложить. И нет такой пакости, которую бы на нас не взвалили. Мало кереншине, что тысячами сидят матросы по тюрьмам и клопов кормят. Придумал Александр Четвертый новое иудино дело. Приказ готовит: корабли совсем разоружить, а нас в маршевые батальоны и на пеший фронт гнать.

Первый матрос. Нас разоружить? Хо-хо-шенки!

Четвертый матрос. Как бы не заслабило!

Третий матрос. Ладила баба пирог, да прокис творог!

Годун. Вот то-то и есть, братки. А знаете, для чего все это затеяно? Для того они хотят флот прикончить, чтобы некому было на море стать грудью против немецких генералов, когда соглашатели кликнут Вильгельма заливать кровью пожар и спасти буржуйские кошельки.

Первый матрос. Ну и гады!

Годун. Знают они, что, пока мы стоим у кронштадтских ворот, нет и не будет немцу хода в Питер, потому что все мы тут ляжем, а такого сраму на наш город, на колыбель революции, не положим... Так вот, братки, сами понимаете, что против нас задумано. И сейчас нам нужно всем как железо стать. Все за одного — один за всех. Дисциплина и порядок, братки. Да такая дисциплина, какой и при царе не бывало. До последнего вздоха дисциплина. И никакого своеволия...

Пятый матрос. Да его у нас и так нет.

Годун. Есть. Ходит тут по кораблю разная шпана... Вот глянь-ка на него! *(Неожиданно резко указывает пальцем на шестого матроса.)* Видите красавца? Патлы на ветер выпустил, клеш распустил, кроме своего пуза другого бога не чтит, лодырь, паскуда, а туда же — анархия. Что ты в анархии понимаешь, гнида сушеная?

Шестой матрос. А ты полегче. Нашелся тоже Вирен с кочегарки.

Годун. Что? *(Встает и хватается шестого матроса за грудь.)* А ну, повтори! Повтори только — воробушком

за борт вылетишь и хвостом махнуть не успеешь... Ему все нипочем. Палуба для него — мусорный ящик, флаг для него — тряпка, Россия — вроде воровской хазы. Ему только одному свободу подай, а другие ему коврики под ноги стели... Да мы из тебя душу вытряхнем, потому что ты все наше дело портишь и пакостишь. Слышишь?! *(С силой отбрасывает его.)*

Шестой матрос *(отлетев)*. Братцы, да что ж вы глядите? За что боролись? Это и ахвицеры так за грудки не хватили.

Годун. Не так еще хватим. Офицерам ты мог поперек вставать, а поперек нашему делу не встанешь. А попробуешь — будет тебе, как Иуде, веревка на гафеле... Понял? И катись, не гадь воздуха в матросском честном кругу.

Пятый матрос. Правильно, Артем. Не позволим наше согласие ломать.

Шестой матрос. Погоди. Найдется на тебя управа. *(Уходит.)*

Годун. Вались, пока жив... *(Садится.)* Так вот, братки, хотят нас буржуи схарчить. Только, думается мне, нет такой силы, чтобы сломила матросскую силу. Мы на драку ученые. «Потемкин» начинал, а нам судьба вышла кончать. И кончим... Поэтому говорю: как подымет наша партия сигнал, как скажут большевики: «Матросы, вперед!» — слушать приказа, как флагмана в бою. Чтоб отказа не было.

Четвертый матрос. Не будет.

Пятый матрос. Так и передай, Артем, партии: все ляжем, а отбоя не дадим.

Второй матрос. Не попятимся раками.

Годун. Смотрите ж. Слово наше — все равно что присяга... А теперь про другое. Знаете, что к нам сегодня гости собираются?

Пятый матрос. Какие?

Годун. Комиссия ВЦИК... Не простые гости.

Третий матрос. Известно. Такие гости, что у матроса ноют кости.

Годун. Хотят нас уговорить быть овечками. А заодно пошпионить, как живем, чем дышим. Нужно их встретить так, чтобы отпала охота шляться... Только, чур, помнить про дисциплину, держать себя как нужно. Мы собой честь революции представляем. Никакого хулиганства.

Пятый матрос. Не тронем. Рук марать не стоит,

Годун. Правильно. Горлом в случае чего ори, а рукам воли не давай... Покличьте кто-нибудь вахтенного начальника.

Один из матросов убегает.

Четвертый матрос. А кто придет, Артем? Верно, знаешь?

Годун. Накрейбриг, адмирал Милицын. С ним эсеровский уговаривающий и еще какое-то насекомое.

Входит второй мичман.

Второй мичман. Звали, товарищ председатель судкома?

Годун. Да. Вот что, господин мичман. Когда катер с комиссией подойдет к борту, караула и оркестра не вызывать. Фронт не строить. Никакого церемониала! Приказание согласовано с командиром.

Второй мичман. Есть. (*Уходит.*)

Годун. Ну, братки, я пошел к командиру. Помните уговор.

Пожилой матрос. Не сомневайся, Артем.

Годун уходит. Матросы расходятся группками.

Третий матрос. А все же, братва, неладно Артем с Лохматовым поступил. В самом деле, не царский режим у нас, чтоб так человека...

Пожилой матрос (*горячо*). Помолчи! Помолчи, говорю, да нос утри, прежь разговаривать. Правильно Артем повел. Так у нас ничего не сладится, ежели каждый за себя тянуть будет. Вот от этого мы на «Потемкине» и дух выпустили, потому что дисциплины завести промеж себя не смогли. Был бы такой Артем с нами, так, может, уже в пятом году хомут с народа сняли б....

Голос сигнальщика. Катер отвалил от стенки!

Пятый матрос. Ну вот и гости. Убирай, ребята, принадлежность.

Несколько матросов поспешно хватают голки, ведра, щетки и уносят за сцену. Остальные кидаются к борту.

Голоса. Катит...

— Флаг адмиральский...

— Погоди, скоро из этих флагов портянки наворачивать будем.

— На всех парах...

Пожилой матрос. Отошли бы от борта. Неловко так.

Третий матрос. И верно. Чего не видали... Спо-см лучше...

Первый матрос. Запевай, Ваня.

Матросы собираются у каземата.

Третий матрос (*запевает*).

Наверх же, товарищи, все по местам,  
Последний парад наступает.  
Врагу не сдастся наш гордый «Варяг»,  
Пощады никто не желает...

Хор мрачно и сурово повторяет.

Все выпелы вьются, и флаги шумят.  
Наверх якоря поднимают.  
Готовятся к бою, орудия в ряд  
На солнце зловеще сверкают...

С трапа на палубу подымается адмирал Милицын, за ним — Успенский, в защитном френче и каскетке, с рукой в черной перчатке, заложенной за борт френча, и белокрытый неуклюжий матрос в черноморской фуражке, явно не привыкший к форме. Это Хваткин. Поющие стоят спиной к трапу, нарочито не замечая появления гостей.

Милицын. Смирно! Что у вас делается? Это что за гвалт? Базар? Где вахтенный начальник? Вызвать командира!

На окрик Милицына матросы мгновенно поворачиваются и засты-вают в великолепной уставной стойке.

Третий матрос. Есть вызвать командира! (*Бы-стро убегает.*)

Милицын (*в ярости*). Кабак, а не корабль. Мерзавцы! Бедлам!

Успенский (*тихо*). Ваше превосходительство, будьте спокойней. Дипломатия и такт.

Милицын. Я не дипломат, сударь, а адмирал.

Успенский. Но вы видите — на корабле порядок... чистота... А нам говорили...

Милицын. По-вашему, порядок, а по-моему...

Из люка подымается Берсенева, за ним — Годун.

Берсенева (*подходит, взяв под козырек*). Честь имею явиться, ваше превосходительство.

Милицын. Где вы были, господин капитан первого ранга? Где ваш вахтенный начальник? Почему нет встречи? Где оркестр? Где караул? Почему вы не в форме, не при палаше? Вы бы еще вылезли в кимоно и туфлях... Вы что, первый год на службе? Устав забыли? Как стоите? Стыд и позор!

Берсенов хочет ответить, но его перебивает Годун.

Годун. Господин контр-адмирал. Командир выполняет приказание судового комитета, который постановил ввиду усталости команды от вчерашней погрузки угля никаких церемоний не производить.

Милицын. Команда устала? От митингов? Вы сами кто такой?

Годун. Председатель судового комитета.

Милицын. Не знаю такого чина! На корабле есть командир... Большой сбор! Команду во фронт!

Берсенов. Большой сбор!

Второй мичман (*выходя*). Горнист! Большой сбор!

Горнист играет сигнал большого сбора. Свистки дудок, звон колоколов громкого боя. Сцена заполняется матросами, они выстраиваются по борту. На правом фланге становятся Берсенов, Годун, Штубе и оба мичмана. За ними — кондукторы и боцманы.

Милицын. Смирно! Слушать меня!

Годун. Команде слушать адмирала. Стоять вольно!

Милицын. Это что? Кто здесь командует?

Годун. Командуем — мы.

Милицын. Молчать!

Глухой ропот и движение в строю. Успенский берет Милицына под руку и что-то шепчет.

Как вам угодно, милостивый государь. Сами довели, сами и расхлебывайте ваши демократические щи... Стоять вольно! С вами будет говорить член центрального исполнительного комитета партии социалистов-революционеров господин Успенский...

Успенский театрально вспрыгивает на кнехт и простирает левую руку.

Голос из строя. Не кажи гоп, пока не перескочишь.

Милицын (*обернувшись*). Что? Разговорчики в строю?

Успенский. Матросы, революционной великой России! От имени Временного правительства я требую



от вас вслушаться в слова любви и предостережения. Вы на ложном пути. Мы хотим вернуть вас на верную дорогу...

Голос из строя. Ишь ты, какой стрелочник...

Успенский. Что?

Милицын. Не перебивать!

Успенский. Вас одурачили безответственные элементы, которые сулят вам немедленный рай на земле. Поймите, ничто не дается сразу. Вы продаете светлые идеалы будущего за чечевичную похлебку...

Голос из строя. Ты не нам говори. Ревизору скажи. Он казенные одеяла спекулянтам сплавляет.

Успенский. Вы должны слушать не подпольных агитаторов, сеющих рознь среди русских людей, а представителей законной демократической власти: Временного правительства, которые душой болеют за вас, за общенародные интересы...

Голос из строя. А землю народу когда дадите?

Успенский. Вы спрашиваете о земле? Но этот кардинальный вопрос может быть разрешен лишь волей Всероссийского учредительного собрания на основе справедливого возмещения владельцам и всестороннего обсуждения...

Голос из строя. Устюшкина мать собиралась помирать... Сто лет тянуть будете...

Успенский. Вы получите землю, но законным путем, а не путем угроз и насилия.

Голос из строя. Слыхали, как куры одышали.

Успенский. Я не могу говорить, когда меня перебивают на каждом слове... Я требую уважать в моем лице правительство революции. Мы не допустим никаких самочинных, разбойничьих захватов земли...

Пятый матрос. Возьмем и не спросим.

Третий матрос. А будете поперек, так самих в землю уложим.

Успенский. Матросы! Опомнитесь! Под видом революции вас толкают на путь, который приведет к страшной реакции, который затопит страну потоками народной крови. Эта кровь уже пролилась неделю назад в Петрограде во время вашего безумного выступления, когда вы были подло преданы и покинуты толкнувшими вас на этот путь большевиками...

Ропот, крики, свист.

Пятый матрос. Большевиков не цапай!

Успенский. Вы ослепли. Вы не сознаете и не видите предательской игры, потому что вы темны и доверчивы.

Четвертый матрос. Тебе-то не поверим.

Успенский. Если вы не хотите слушать голос дружеского убеждения, мы заставим вас подчиниться воле народа железом и кровью. Чтобы спасти Россию, мы не остановимся перед введением смертной казни.

Движение в строю. Голоса перерастают в угрожающий рев. Милицын отступает за Успенского. Тот растерян.

Годун (кричит). Тихо!

Шум стихает.

Успенский. Я требую...

Годун. Хватит требовать, если хотите уцелеть. За угрозы команде лишаю слова.

Успенский. Вы не имеете права.

Годун. Право у нас в винтовках сидит.

Успенский. Насильники! Изменники! Если вы не хотите слушать меня, послушайте своего товарища, матроса-черноморца. *(Слезает с кнехта и помогает подняться белобрысому матросу.)*

Третий матрос. А он откуда вылез?

Первый матрос. Кто такой? С какого корабля?

Третий матрос. Браточек, ты в какой воде плавал, каким соляром мазан?

Хваткин. Братцы матросики!.. Я черноморец, Петр Хваткин, с подводной бригады...

Первый матрос. С какой лодки, спрашиваю?

Третий матрос. Он с лодки «Акула-Вакула». Полгода плавала, а после потонула.

Хохот.

Хваткин. Братцы матросики, послушайте своего брата. Не верьте христопродавцам-большевикам. Гоните их вон, слушайте своих офицеров. Мы, черноморцы, смутьянов отовсюду повыгнали и вместе с родными отцами нашими командирами будем служить матушке России и Временному...

Второй матрос *(выскакивая из строя)*. Стой!.. К чертовой матери! Ребята, знаете, кто он? Я его сперва в форменке не спознал... Наш он, костромской. Батка его — главный в городе бакалейщик, а его с реалки с четвертого класса погнали за хулиганство... Сволочь он буржуйская...

Рев матросов. Они напирают отовсюду.

Пятый матрос. Нас предателями обзывают, а сами к нам липу подсылают, ахтеров.

Первый матрос. Бей его, в мою голову!

Мелькают кулаки.

Годун. Стоп! Задний ход, ребята! Помните, слово дали.

Берсенов и офицеры вместе с Годуном оттесняют матросов к борту, защищая Успенского и его свиту. Штубе стоит, засунув руки в карманы, и ненавидящими глазами смотрит на матросов. Сзади него держится Швач.

Швач (*вполголоса*). Ваше высокоблагородие, я всех крикунов по голосу опознал. Прикажете на замечточку взять?

Штубе. Запиши... потом.

Берсенов. Товарищи! До сих пор вы верили мне. Поверьте и сейчас. Не нужно насилия. Держите себя в руках.

Годун. Расходись, братва, тихо. Господа делегаты Временного правительства, предлагаю немедленно покинуть корабль во избежание кровопролития. Вы нам не нужны. Без вас обойдемся.

Милицын (*придя в ярость*). Я вам покажу! Я вам задам... Бунтовать? Негодяи! Господин капитан первого ранга, приказываю под личную ответственность немедленно арестовать зачинщиков...

Берсенов. Попробуйте сами, ваше превосходительство. В иные минуты нужно быть зрячим.

Милицын. Разговаривать?.. Позор! Вы заодно с ними. Вы ответите. Объявляю вас арестованным...

Берсенов. Есть.

Новый взрыв возмущения среди матросов.

Голос. В воду их! Гони на трап!

Третий матрос. Братишки, не пачкай трапа гадами! Спустить их за борт на горденях, как скотину.

Хохот.

Крики. Заводи стрелу...

— Разбирай тали.

Матросы надвигаются на делегатов.

Берсенов (*загораживая делегатов*). Товарищи! Не надо!.. Я вас прошу.

Третий матрос. Уходи, Евгений Иванович, мы тебя любим, только их сплавить не мешай.

Матросы оттесняют Берсенева. Вперед неожиданно вырывается Штубе с пистолетом в руке.

Штубе. Назад, подлецы! Стрелять буду!

Третий матрос. А ты куда, кожа? *(Хватает Штубе за руку.)*

Подоспевший Еремеев выдергивает из руки Штубе оружие.

Пятый матрос. Дайте ему, дракону, одного раза насмерть.

Годун *(бросается, прикрывая собой Штубе)*. Не позволю! Назад! *(Во весь голос.)* По местам! Смирно!

Третий матрос *(отшатываясь)*. Ну и орала, вполне за адмирала.

Шум стихает.

Годун. Никого не трогать. Пусть уходят честью. Мы не разбойники. Скатертью дорога, ваше превосходительство!

Милицын. Приказываю именем Временного правительства...

Годун. Передайте Временному правительству, что мы на него хрен с редькой положили. Крейсер подчиняется только большевикам.

Милицын *(отступая к трапу)*. Мерзавцы, я потоплю вашу банду артиллерией.

Третий матрос. Комендоров не найдешь, старая крыса. А сам не осилишь.

Милицын *(со ступеньки трапа)*. Прохвосты!

Четвертый матрос. Не надрывай глотки, отче. Панихиду по себе петь не сможешь.

Под улюлюканье матросов делегаты скатываются по трапу. Слышна сирена катера.

Пятый матрос *(через поручни)*. Катитесь на белом катере!

Годун. Баста! Расходись, братва... По палубе не шляться. Быть начеку! Сигнальщикам следить за берегом! В случае чего — боевую тревогу, а то старец в самом деле взбесится и с фортов шархнет.

Матросы расходятся. Палуба пустеет. Остаются только Берсенов, понуро стоящий у люка, первый и второй мичманы и Годун.

(Подходя к Берсеневу.) Евгений Иванович, вы что загрустили?

Берсенеv молчит.

Не очень деликатно, конечно, вышло, да ведь сами видели, кто куда гнул и кто на стенку лез.

Берсенеv. Мне трудно это принять.

Годун. Что ж сделаешь? Драка так драка. И раз теперь так пошло, то скоро, значит, и до настоящей драки дойдет. Так если вам не под силу, Евгений Иванович, скажите просто. Мы понимаем, что тяжело против своих идти всерьез. Может, лучше уйти вам?

Берсенеv молчит, лицо его передергивается судорогой.

Говорите прямо — никто не осудит. До своей точки вы с нами дошли. Раз дальше не можете — лучше сказать, пока не поздно. Потом задний ход давать нельзя будет.

Берсенеv (*подымая голову*). Мне поздно отступать... Я пойду с матросами до конца.

Годун. Ладно. Благодарить не стану. Поблагодарит народ. А у меня в вас вера твердая, Евгений Иванович. Руку тогда! (*Обменивается рукопожатием с Берсеневым и оборачивается к мичманам.*) Ну, а вы как, господа офицеры?

Первый мичман. Мы — как господин капитан первого ранга.

Годун. Молодцами, господа офицеры. Кто молод, тот смел. Полный вперед!

Занавес

## ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Декорация та же, что в первом действии,— столовая в квартире Берсенева. Вечер. Шторы на окне задернуты. Над столом горит лампа под шелковым цветным абажуром, выделяя ярким белым квадратом скатерть. При поднятии занавеса в столовой у двери стоят Берсенов, в шинели и фуражке, натягивающий перчатку, собираясь уходить, и Штубе, в обычных форменных брюках, но в пижаме вместо кителя.

Берсенов. Ну вот, вчера комитет постановил удовлетворить твою просьбу о списании с корабля. Теперь ты вольная птица. Как же ты намерен дальше устраивать свою жизнь, мой милый?

Штубе. Через несколько дней я должен получить заграничный паспорт. Федя Мейендорф — теперь начальник департамента, и он устроил мне это без проволочек.

Берсенов. Так... Куда же ты намереваешься двинуться?

Штубе. В Финляндию... а после, если понадобится, в Швецию.

Берсенов. Значит, один?

Штубе. Но вы же сами знаете, Евгений Иванович, что Таня и слышать не хочет о выезде за границу... Если бы вы своим авторитетом помогли мне уговорить ее...

Берсенов. Ну, уж нет... Я в ваши взаимоотношения вмешиваться не намерен. Уговаривай сам.

Штубе. Но почему? Неужели вы не видите сами, что там будет лучше?

Берсенов. Для тебя — возможно. Для нее — сомневаюсь. Она, как и я, как все мы, корнями в русской земле. Перенеси на другую почву — зачахнет. Особенно в такое горячее время. И обо мне и матери она будет тосковать.

Штубе. Значит, разлука с вами для нее больше, чем разлука со мной?

Берсенов. Спроси у нее. А я боюсь, что да... На какие же средства ты будешь существовать за границей?

Штубе. Я нашел одного дельца, который согласился купить мою дачу под Ригой вместе с землей. Я бы сам не дал сейчас за нее гроша, но он твердо уверен, что расходы окупятся впоследствии.

Берсенов. Иначе говоря, ты продал имущество, которое уже не принадлежит тебе? Отличная сделка.

Штубе. Наша семья два века владела этой землей... И революция не будет продолжаться вечно.

Берсенов. Ты думаешь?

Штубе. Конечно. Если мы сами не справимся с ней, капиталисты не потерпят мужицкой анархии в России.

Берсенов. Блажен, кто верует, мой милый. Но я думаю, что тебе ненадолго хватит вырученного за твои латифундии. Вероятно, твой покупатель не слишком раскошелится.

Штубе. На год хватит.

Берсенов. А после?

Штубе. Там увидим...

Берсенов. Опрометчиво. Ты, мой милый, непрактичен. Право, тебе следовало бы взять пример с некоторых твоих коллег. Ревизор с «Андрея Первозванного», барон Люце, кажется твой большой приятель, поступил благоразумнее. Он захватил с собой содержимое денежного ящика.

Штубе (*негодуя*). Евгений Иванович! Я не понимаю... Вы принимаете меня за вора?

Берсенов (*резко*). Разреши мне разговаривать так, как я нахожу нужным. Я старше тебя по чину и по годам, и не тебе меня учить. Я доведу дело до логической точки. Если в такую годину ты бросаешь родину, которую, как ты утверждал, любишь больше, чем я, и которую ты хотел спасти, то почему не прихватить с этой родины все, что можно?

Штубе. Я не могу жить в стране, которая разваливается на глазах. Но я честный человек, я дворянин и не пойду на преступление. Я смогу найти себе место в любой стране...

Берсенов. Что ж, ищи... Но запомни, что я тебе сейчас скажу: Россия никогда не вернется на старый путь. Может быть, никто из нас не доживет до лучшего будущего, но оно настанет, и новая родина помянет добром только тех, кто остался с ней в тяжкие годы, и

навек проклянет тех, кто покинул ее, как блудный сын, ища теплого местечка за рубежом. С того дня, когда ты переступишь этот рубеж, ты станешь вечным скитальцем, без родины, без имени, без чести. И возврата тебе не будет... А теперь — делай как знаешь. Прости, мне пора... (*Уходит.*)

Штубе (*несколько секунд стоит молча, потом пожимает плечами, с саркастической усмешкой*). Старик совершенно свихнулся с курса... Что за тон... Можно подумать, пророк Иеремия, а не капитан первого ранга... Чепуха! (*Быстро уходит.*)

Входит горничная.

Горничная (*подходит к столу и убирает чашки*). Опять весь самовар выдули. И прямо понять невозможно, с чего так пьют... Как эта революция началась, так по восьми самоваров в день выпивают. Должно, с нервов на чай тянет. А пуще всех молодой барин Леопольд Федорович... Вчера я даже посчитала с любопытства. С утра семнадцать стаканов оглушил. Из немцев, а пьет, как гостинодворский. (*Смеется.*)

В передней звонок. Горничная бежит в переднюю. Выходит Софья Петровна, прислушивается.  
Горничная (за сценой): «Дома. Дома. Как прикажете доложить?»  
Ярцев (за сценой): «Полковник Ярцев... Леопольд Федорович знает: он нас ждет».

Горничная (за сценой): «Сей миг доложу, обождите...»

Входит горничная.

Горничная. К молодому барину, Софья Петровна. Двое.

Софья Петровна. Что же вы их оставили в передней, Глаша? Просите сюда. Я сейчас позову Лео.

Горничная убегает в переднюю.  
Горничная (за сценой): «Заходите в комнаты, пожалуйста».

Софья Петровна (*открыв дверь*). Лео! К вам гости.

В столовую входят в сопровождении горничной Ярцев и Полевой. Ярцев кланяется Софье Петровне.

Полевой (*целует ей руку*). Доброго здоровья, Софья Петровна. Как поживаете? Здоровы? Разрешите представить — Алексей Алексеевич Ярцев.



Софья Петровна. Очень рада. Прошу садиться, господа. Леопольд Федорович сейчас выйдет. А я, простите, вас покину. У меня брусничное варенье варится...

Полевой. Оставьте мне пенек, Софья Петровна. Я стал ужасным лакомкой.

Софья Петровна. Пожалуйста. Сколько угодно. *(Уходит, сопровождаемая горничной, которая уносит со стола чашки.)*

Ярцев. Угодно папироску, поручик?

Полевой. Мерси, господин полковник. Не откажусь. *(Садится.)* Вот увидите сами... Это очаровательный дом.

Ярцев. Но где же эта прелестная маленькая фся, о которой вы мне прожужжали уши по дороге? Я не думаю, что эта почтенная дама, с которой вы меня познакомили...

Полевой. Что вы? Что вы, господин полковник? Неужели вы думаете, что я завожу романы с дамами опасного возраста? О нет. Мой предмет — ее младшая дочь. Ксения Евгеньевна, или, проще, Кси... Пленительная девчурка и без особых церемоний. Эмансипэ и полудева.

Ярцев. Что ж, поручик, благословляю.

Быстро входит Штубе, застегивая китель.

Штубе. Я заставил вас долго ждать? Будьте великодушны. Устал и позволил себе немножко отдохнуть...

Полевой. Бонжур, Лео... Знакомьтесь — полковник Ярцев.

Штубе. Очень рад познакомиться. Еще раз простите.

Ярцев. Пожалуйста. Какой тут этикет! Люди свои.

Штубе. Как доехали, Полевой?

Ярцев. Доехали, знаете, неважно. Уж и шинели надели самые «товарищеские», без хлястиков, рваные, и документы выправили крепкие, а все же по дороге и в поезде, и на пароходе до Ораниенбаума матросня раз пять привязывалась с проверкой. Расспрашивали: кто такие, зачем, почему, куда?.. Спасибо, Владимир Николаевич великолепно освоился с ролью. Ругался, как дезертир, а подсолнухи сплевывал прямо матросам на штаны, как член Совдепа. Уж когда тут по Кронштадту к вам шли, слышали, как на площади некий фрукт

ораторствовал, что разыскивают каких-то буржуйских защитников — офицеров. Хорошо, что товарищи все фонари перебили и на улицах тьма египетская.

Штубе. Это у нас ежедневное явление, господин полковник. Жизнь в Кронштадте — это канкан на острие ножа.

Ярцев (*беспокойно*). Но, надеюсь, здесь у вас безопасно?

Штубе. Вполне.

Полевой. Не извольте тревожиться, господин полковник. Над этим домом, как ангел-хранитель, витает тень капитана Берсенева и отгоняет злой дух матросии.

Штубе. Да, хотя это и противно, но должен подтвердить, что высокосоциальная революционная репутация моего тестя ставит нашу квартиру вне подозрений и эксцессов.

Ярцев. Отлично. Лучшего желать не надо. Тогда приступим прямо к делу, ибо промедление смерти подобно. Кстати, здесь можно спокойно говорить обо всем?

Штубе. Безусловно. Сейчас в доме нет никого, кроме женщин. Но теща с горничной заняты вареньем и вообще не интересуются нами. Жены нет дома, а свояченица у себя.

Ярцев (*достает из кармана бумаги и кладет на стол*). В таком случае начнем.

Штубе. Одну минуту, господин полковник. Сейчас ко мне должен прийти наш боцман Швач. Не подожждать ли его? Он активный участник организации и подробно информирует меня о всей деятельности судового комитета и его большевистского ядра.

Полевой. Ну, он подойдет позже. И, пожалуй, даже лучше, чтобы он не присутствовал при начале и не слышал нашего разговора, потому что есть ряд крупных осложнений, о которых ему не полагается догадываться.

Штубе. Вот как?

Ярцев. Да. Вам известно последнее выступление команды «Зари»?

Штубе. Вы говорите, конечно, об отказе выйти в море на боевую позицию и неподчинении оперативным приказам комфлота? Да, знаю.

Ярцев. Дальше еще хуже. Контрразведка штаба округа выяснила точно, что сегодня на рассвете крейсер должен выйти в Петербург по вызову Центрального

Комитета большевиков. Они решили использовать его как основную боевую силу в готовящемся восстании.

Штубе. Я не удивлен. От наших прохвостов и не этого можно ожидать.

Ярцев. Так вот, извольте взглянуть на диспозицию. Это рейд Невы. Вы видите, что, встав у Николаевского моста, крейсер берет под прицел своей мощной артиллерии центр и мозг нашей обороны — штаб округа и цитадель правительства — Зимний дворец. И, к сожалению, мы не можем противопоставить ничего шестидюймовкам крейсера.

Штубе. Позвольте! А части артиллерии гарнизона? Ведь в Петербурге есть тяжелые гаубичные дивизионы.

Полевой. Вот тут-то и загвоздка. Вы представляете себе, что, кроме юнкерских батарей Михайловского училища и одной зенитной, вся гарнизонная артиллерия вдрызг распропагандирована большевиками, и слава богу, если она останется нейтральной.

Ярцев. А юнкерские батареи ни к черту не годятся, вы сами понимаете.

Штубе. Да... Не блестящее положение.

Ярцев. Положение, выражаясь стилем товарищей, дермовое. Но от нас зависит его выровнять.

Штубе. Каким образом?

Ярцев. А вот... «Комитет защиты родины и свободы» обсуждал специально все возможные варианты и остановился на...

В передней слышен звонок.

Полевой. Звонят.

Ярцев (*тревожно*). Не матросы ли?

Штубе. Не думаю... Полевой, на всякий случай проводите господина полковника ко мне в комнату...

Полевой. Правда. Нам лучше убраться отсюда.

Полевой уводит Ярцева в глубь квартиры. Звонок повторяется. Выбегает горничная и бежит через столовую в переднюю. Штубе стоит у двери в глубине, засунув правую руку в карман, и прислушивается.

Годун (в передней): «Давайте ваш бушлатик, Татьяна Евгеньевна, я повешу».

Штубе. У... сволочь! Черт, припер!

Татьяна (в передней): «Не трудитесь, я сама... Глаша, милая, сделайте нам яичницу. Я страшно голодна. Заходите, Артем Михайлович».

Штубе быстро скрывается. Входят Татьяна, Годун и горничная, которая проходит через столовую и скрывается.

Татьяна (*сбрасывая косынку*). Боже мой, какая нестерпимая головная боль!

Годун. Замучились?

Татьяна (*садится в кресло*). Садитесь, Артем Михайлович.

Годун присаживается на стул.

Конечно, замучилась. Страшное дежурство было. Опять привезли большую партию раненых из-под Риги. За ночь трое умерло у меня на руках... Знаете, Артем Михайлович, вот уже третий год работаю в лазарете... Кажалось бы, можно уже стать равнодушной, а я, наоборот, чем дальше, тем беспокойней. Не в силах больше смотреть на эти человеческие обломки... Кому это нужно? Когда же это кончится?

Годун. А это пустой вопрос, извините за прямоту, Татьяна Евгеньевна. Тому нужно, кто из нашей солдатской крови рубли и прочие монеты чеканит. А кончится тогда, когда рабочий класс этих чеканщиков начисто прикончит.

Татьяна. Я это понимаю. Но от этого не легче... Никто не знает, когда настанет конец.

Годун. И это неверно, Татьяна Евгеньевна. Мы знаем.

Татьяна. Вы?

Годун. Мы... большевики. Тут все дело в простой арифметике, простую же арифметику мы очень хорошо понимаем. До алгебры нас господа не допускали, так зато первые четыре действия мы назубок прочно взяли. И потому наша арифметика — наука проверенная, без обману. Те, кто из нас веками кровь и пот выжимал, сейчас об одном думают: как бы поскорей миллионы людей перехлопать, чтобы несколькими сотням привольно жилось. Гуляй — не надо. А мы обратное задумали. Прикончить сотни, чтобы миллионы миллионов вольно трудились и легче дышали. Вот и рассудите, чей расчет выходит правильный.

Татьяна. А разве нельзя так, чтобы ни сотни, ни миллионы не умирали?

Годун. Пока нельзя. Никак не выходит.

Горничная приносит яичницу.

Татьяна. Спасибо, Глашенька.

Горничная. Что это вы сегодня такая бледненькая, душенька Татьяна Евгеньевна? Нездоровится?

Татьяна. Ничего, Глашенька, голова болит.

Горничная. Можно идтить?

Татьяна. Конечно.

Горничная уходит.

Годун (*проводив ее взглядом*). Приятно видеть, Татьяна Евгеньевна, что вас люди любят. Чуют в вас легкое сердце...

Татьяна. Давайте свою тарелку, Артем Михайлович.

Годун. Много благодарен. Сыт... Кушайте сами, а я с вами посижу, если позволите.

Татьяна. Конечно. (*Принимается за еду.*)

Годун внимательно смотрит на нее.

(*Заметив этот упорный взгляд*). Вот опять вы на меня уставились, Артем Михайлович! Не нравится мне это — ваша привычка разглядывать человека в упор, как будто вы его насквозь просматриваете.

Годун. А в самом деле — привычка. Как иначе? Время такое, что на корабле, например, каждого человека просматривать приходится. Поневоле и на всех так же глядишь.

Татьяна. А впечатление от этого вашего взгляда такое, словно вы и мне не верите.

Годун. Нет. Это вы напрасно... (*Пауза.*) Вам верю, но только приходит мне часто дума, на вас глядя, как это в одном гнезде разной породы птенцы высиживаются.

Татьяна. То есть? Не понимаю.

Годун. Взять хоть ваше семейство... Евгений Иванович, вы да мамаша ваша, хоть и тихая она, — все одной породы. А вот сестра ваша, Ксения Евгеньевна, будто совсем иных кровей. Как кукушкой подкинута... Отчего это?

Татьяна (*улыбнулась*). Ах, вот вы о чем... (*Задумчиво.*) Я сама не раз задавала себе вопрос: отчего Ксана выросла такой пустой, легкомысленной? Думаю, что не она в этом виновата.

Годун. А кто ж?

Татьяна. Трудно сказать. Вся семья виновата... Три года назад она ведь совсем еще девочкой была... И осталась одна. Отец всегда в море, мать в постоян-

ной тревоге. Брат погиб в самом начале войны, я замуж вышла. Вот и оставили без призора...

Годун. А вы все-таки за ней присмотрели бы. Молодая — дурная. Так и до плохого конца недолго.

Татьяна. Не послушает уже она меня, Артем Михайлович. Силы такой у меня нет... Я вам порой завидую. Очень вы крепкий. Сейчас все кругом так стремительно и страшно разламывается, а в вас такая добротная прочность.

Годун. Это оттого, что у меня своя цель есть. А нынче только тот себя соблюсти может, кто цель перед собой видит. *(Смеется.)*

Татьяна. Это вы хорошо о цели сказали... Чему вы смеетесь?

Годун. Так... Маленько смешновато. Выходит, теперь и я вам в учителя пригодился. То вы меня английским буквам обучали, а вот и у меня для вас наука находится.

Татьяна. Что ж, каждый знает что-нибудь полезное для другого. Если научите меня чему-нибудь хорошему, только могу сказать спасибо.

Годун. Рад бы учить, Татьяна Евгеньевна, да времени вот столько осталось. *(Показывает половину мизинца.)*

Татьяна. Как это понять?

Годун. Что же, от вас держать в тайне не стану. Нынче ночью в Питер уходим.

Татьяна. Крейсер?

Годун. В точку угадали. *(Пауза.)* Что же не спросите — зачем?

Татьяна *(тихо)*. Я догадываюсь.

Годун. Правильно... Ну, как? Благословляете Артема Годуна устанавливать на земле большевицкую арифметику?

Татьяна. Не знаю... Мне страшно думать об этом.

Годун *(встает)*. А делать еще страшнее. Вы подумайте, впервой ведь на земле. Может, через сто лет человеки к нашим косточкам на поклон приходиться будут, а может, и могилы наши затопчут, чтоб никто и не вспомнил. Может, клясть нас будут... Неведомо... А делать надо... Ну вот. Сказал, а теперь пора и честь знать... Прощайте...

Татьяна. Не люблю этого слова... До свидания.

Годун. Я тоже не люблю, а на всякий случай. В Питере-то нас, пожалуй, свинцовыми конфетами

встретят. Кому в рот, кому по усам, кому мимо — не угадаешь.

Татьяна (*взволнованно*). Во всяком случае, желаю успеха.

Годун. Правда?

Татьяна. Да.

Годун. Ну, спасибо на добром слове... (*Идет, у двери вдруг останавливается.*) Эх, была не была... Чего там таить. Может, и не жить больше.

Татьяна. Что такое?

Годун (*почти со злобой*). Да то самое... Не гневайтесь, Татьяна Евгеньевна, все равно прямо скажу: завязали вы мою жизнь мертвым узлом...

Долгая пауза. Татьяна стоит, опустив голову. Годун резко шагнул к ней. Внезапно в столовую входит Софья Петровна. Годун, махнув рукой, быстро выскакивает в переднюю. Хлопает дверь. Татьяна подняла голову и глубоко вздохнула.

Софья Петровна. Таня.

Татьяна. Да.

Софья Петровна. Что случилось? Почему Годун выскочил как угорелый?

Татьяна (*деланно спокойно*). Он очень торопился на крейсер.

Пауза.

Софья Петровна (*подходя*). Таня, голубка, тебе тяжело?.. У меня сердце разрывается смотреть на тебя.

Татьяна. Вздор, мама. Не будем об этом говорить. Отец дома?

Софья Петровна. Нет. Он уехал с час назад... Ты видела Лео?

Татьяна. Нет. А что?

Софья Петровна. Видишь, меня все это очень беспокоит. Лео стал такой странный. Загадочные исчезновения, таинственные посетители.

Татьяна. Посетители?

Софья Петровна. Ну да. Опять сегодня офицеры из Петербурга. Полевой и еще какой-то незнакомый. Зачем они ездят? Что им нужно? Ты бы с ним поговорила...

Татьяна. Не стоит, мама... Пусть делает что хочет...

Софья Петровна. Ах, как все это мучительно и страшно.

Горничная (вбегая). Барыня! Софья Петровна! Кипит. Через край льется... (Убегает.)

Софья Петровна. Иду, Глаша. (Поцеловав Татьяну в лоб, уходит.)

Штубе (выглядывает в дверь, потом входит). Таня, ты одна?

Татьяна (не понимая). Что?

Штубе. Ушел этот обормот?

Татьяна (резко). Кто ушел?.. Что тебе нужно?

Штубе. Да Годун... Послушай, Таня, ты нездорова. На тебе лица нет.

Татьяна. Просто я устала на бессонном дежурстве. У меня голова разламывается... Ты о Годуне спрашиваешь? Да, он ушел.

Штубе. Слава богу. Вот уж незванный гость — хуже татарина. Ко мне знакомые пришли, и я вовсе не хотел бы, чтоб они с ним встретились.

Татьяна сжимает пальцами виски, закрывает глаза.

Ты бы прилегла. У тебя ужасный вид.

Татьяна. Оставь меня в покое. Иди к своим гостям.

Штубе (пожав плечами). Была бы честь предложена. (Уходит.)

Татьяна нажимает грушу звонка над столом.

Входит горничная.

Татьяна. Уберите, Глашенька. И потом сходите в аптеку и возьмите мне два порошка цитрованилина.

Горничная убирает со стола. За сценой слышится веселый мотивчик папеваемой французской шансонетки, и в столовую входит Ксения, в японском халате.

Ксения. А, моя печальная нимфа! Добрый вечер! «Дева печально одна вечно над урной сидит»... Ты с дежурства?

Татьяна. Да... А ты откуда?

Ксения. Из ванной! Отхаживалась. Вчера у Лили Грохольской был детский крик на именинах. Накачались шампанским, как извозчики. Пропивали уютный, но навсегда потерянный мир и приветствовали зарю неизвестного будущего.

Татьяна. Умное времяпровождение.

Ксения. Ей-богу, неплохое. Гораздо лучше, чем скорбеть над неразрешимыми мировыми загадками.



Хватишь три бокала — в голове туман и всё кувырком. *(Садится в качалку.)* А ты так и пропадешь в весталках... «Увы, весталка, тебя мне жалко».

Горничная, убрав со стола, уходит.

Татьяна. Скажи мне, пожалуйста, Ксана, откуда у тебя этот отвратительно развязный тон? Тебе девятнадцатый год, а, слушая твои словечки, можно подумать, что ты прошла огонь, воду и медные трубы. Зачем эта нелепая бравада?

Ксения. Ты в самом деле хочешь знать? Тебе интересно? Да?.. Я положительно счастлива, что наконец хоть тебя заинтересовала моя ничтожная персона. Хорошо! Две минуты я буду говорить с тобой серьезно... Откуда? *(С неожиданной силой и тоской.)* От войны! От всего этого кровавого сумбура. От всеобщего одиночания... Ты все-таки успела повидать хорошую, чистую жизнь, а я... Я только начала входить в нее, как она разломалась у меня на глазах. Ты старше меня, но я же вижу, что и ты не знаешь, где выход... Я мечтала о веселье, цветах, песнях, чистоте... А жизнь встретила меня кровью, муками, грязью, отчаянием... Если мне и приходится видеть цветы, то только на панихидах по друзьям моей юности... А песни!.. Вся страна воет «со святыми упокой»... А я не хочу! Не хочу, слышишь! Навзло буду петь «Пупсика» и хлестать шампузу... Я не хочу такой жизни. Почему я должна отцвести не расцветши? Это справедливо? Молодость дважды не приходит. Я улыбки хочу, а не слез, а там все равно. *Après nous le déluge*<sup>1</sup>, или, как великолепно переводит Жорж Болховский, после нас хоть две лужи... Вот и все! *(Вытирает слезы и неожиданно весело.)* Ты видела Володьку? Глаша сказала, что он приехал.

Татьяна. Какой Володька?

Ксения. Боже мой! Мой главный паж и обожатель, Володька Полевой. Адьютант Половцева. Он у Лео?

Татьяна. Не знаю. Меня не интересуют твои обожатели.

Ксения. Напрасно! *(Встает и подходит к двери Штубе.)* Ты посмотрела бы, как он бежит за мной. Как борзая! *(Уходит.)*

Татьяна. Бедная девочка! *(Идет к окну, припо-*

---

<sup>1</sup> После нас хоть потоп *(франц.)*.

*дымает край шторы и смотрит на улицу.)* Осень!..  
Дожди!.. Я больше не выдержу...

В передней звонок. Татьяна быстро уходит туда. Слышен топот каблуков, стук прикладов о пол, повышенный голос Татьяны. Татьяна (за сценой): «Я спрашиваю: зачем вы здесь? Что вам надо?»

Голос: «Пришли — значит, нужно. Давай офицеров!»  
На пороге показывается отступающая в столовую Татьяна. За ней трое матросов с винтовками.

Татьяна. На каком основании вы врываетесь, как разбойники?

Первый матрос. Ну-ну, мадамочка, без хаю. Где офицеры?

Из двери на секунду выглядывает и скрывается голова Штубе.

Татьяна. Какое офицеры?

Первый матрос. Ты, барынька, не заливай. Мы тоже сами царской фамилии и умеем кушать минюги с фаршированными баклажанами.

Второй матрос. Сбежали от нас на пристани две контровых гадюки в темноте. Да все равно не уйти.

Третий матрос. Все говорят, в этот подъезд забегали.

Татьяна (с усилием). Здесь никаких офицеров нет, кроме капитана первого ранга Берсенева. Это его квартира.

Первый матрос. Берсенева?.. Евгений Ивановича?

Татьяна. Да.

Матросы удивленно переглядываются.

Первый матрос. Братва... поворот оверштаг. Не по тому румбу поплыли... Заблудились. Простите великодушно, мадамочка...

Все трое, расшаркиваясь, уходят. Татьяна, закусив губу, прислоняется к стене.

Штубе (высовываясь из двери). Спасибо, Таня. Молодцом. Здорово выпроводила.

Татьяна (выпрямляясь). Не смей благодарить меня. Мне нет никакого дела до тебя. Я просто не хотела, чтобы в доме отца пролилась кровь... Я солгал, но в последний раз. Запомни. (Уходит.)

Штубе. И за то спасибо.

Ярцев (выглядывая из двери). Ну что? Ушли!

Штубе. Унесло... Жена спровадила.

Ярцев. Скатертью дорожка. Паршиво бы вышло, если б они на нас напоролись.

В передней звонок.

Штубе. Опять?

Ярцев. Дьяволыщина. *(Исчезает за дверью.)*

Штубе осторожно выходит в переднюю и через секунду возвращается со Швачом.

Штубе. Где тебя черти носили, дурак? Который час?

Швач. Виноват, ваше высокоблагородие. На улицах с опаской надо ходить. Я, как дошел до вашего дома, вижу, матросы с винтовками бегают, рыщут, как волки. Ну и сдрейфил сразу войти, как бы не вляпаться в кашу...

Штубе. Идем скорее. Там господа офицеры ждут. Направляются к двери комнаты Штубе и сталкиваются с выходящими оттуда Ксенией и Полевым.

Владимир Николаевич, вы куда?

Полевой. У нас разговор сердец.

Штубе. После... Ведь дело...

Полевой. ...не волк, в лес не убежит. И потом, что же мне торчать с вами дальше. Там остались всякие электро-химико-механические подробности, а я в них ни бельмеса.

Штубе. А, черт с вами!..

Штубе и Швач уходят. Полевой берет Ксению за руки.

Полевой. Фея Балтийского моря! Вы просто ослепительны сегодня. Вы положительно сбиваете меня с ног. Я таю, как снежинка, от вашего взгляда. Так как же?

Ксения. Так же, как я вам сказала, Володька. Пока вы мне не расскажете, о чем вы шептались с такими таинственными рожами, когда я вошла к Лео, я не только на верховую прогулку с вами не поеду, но и пешком не пойду и на глаза вас не пушу... Вот!

Полевой. Но, помилуйте; богиня Невы... ведь это государственная и военная тайна.

Ксения. Государство — это я.

Полевой. Это абсолютно бесспорно, но все же...

Ксения. Без всяких «но».

Полевой. Честное слово, не могу. *(Пытается поцеловать руку Ксении.)*

Ксения (*шлепает его рукой по губам*). Нет, нет!.. Вам сказано условие?

Полевой. Но, право...

Ксения. Ах, так?.. Вы гадина, Володька! Вы свинья, Володька! Я уйду, и больше вы меня не увидите.

Полевой (*удерживая ее*). Ну хорошо... Только поклонитесь, что никому ни полслова.

Ксения. Клянусь! Хотите, на крестике поклянусь? (*Достает крестик и целует.*) Вот! Видели? Целую!.. Ну!

Полевой (*оглянувшись, шепотом*). Сегодня «Заря» должна уйти по вызову большевистской организации в Петербург... Ну, так она не уйдет.

Ксения. Почему не уйдет?

Полевой. Нет... Больше ни слова...

Ксения (*топает ногами*). Володька!

Полевой. Ах, черт подери!.. Она будет взорвана.

Ксения. Как взорвана?

Полевой. А дьявол ее знает, как... Я в этом ничего не смыслю. Наверно, подложат куда-то там заряд, кажется, под мины, и... бух на воздух.

Ксения (*заинтересованно*). Когда же будет этот «бух»?

Полевой. Перед рассветом. Получится роскошное зрелище.

Ксения. Так... (*Пауза.*) Как вы думаете, с набережной будет видно?

Полевой. Что?

Ксения. Это... Взрыв.

Полевой (*растерянно*). Не имею представления... Возможно. Да зачем вам это нужно?

Ксения (*мечтательно*). Обязательно пойду на набережную.

Полевой. Вы?

Ксения. Ну да. Я видела в кино гибель «Лузитании». Так интересно, жуть!

Полевой. Вы очаровательная сумасбродка... Ну, а награда?

Ксения. Отстаньте!

Полевой. Жестокая! Один лишь поцелуй, невинный, мирный!

Ксения. Ну хорошо!

Полевой стискивает ее в объятиях. За дверью — голоса. Полевой отскакивает. Входят Штубе, Ярцев и Швач.

Штубе. Все ясно, господин полковник.

Ярцев. Только будьте чрезвычайно осторожны, Леопольд Федорович. Несудачи не должно быть. От этого, может быть, зависит судьба России. После вам, конечно, лучше уйти за границу. Вероятно, мы уже не увидимся. Разрешите вас обнять на счастье... (*Обнимает Штубе.*)

Штубе. Я ценю ваше доверие.

Ярцев. Дай вам бог успеха.

Штубе. Благодарю. (*Швачу.*) Значит, запомни... Между половиной двенадцатого и двенадцатью у девого кормового отвода... А теперь проводи господ офицеров через черный ход проходным двором. Да раньше выгляни на улицу, чтоб не наскочить на патрули.

Швач. Есть, ваше высокоблагородие.

Ксения. Значит, помните уговор, Володька. Завтра в полдень вы ждете меня с лошадьми на Крестовском, у «Стрелы». И не опаздывать!

Полевой. Рад стараться. До сладостного свидания, несравненнейшая из всех девушек.

Штубе. Я тоже уйду вслед за вами, господин полковник. Дома оставаться бессмысленно. Опять может нагрянуть какая-нибудь рвань, и тогда все полетит прахом... Ксапа, если меня кто-нибудь будет спрашивать, не откажите сказать, что я ушел в морское собрание... До свидания, господа.

Ярцев. Слава России, господа офицеры!

На мгновение Штубе, Ярцев, Полевой и Швач встают «смирно». Потом расходятся. Штубе идет в переднюю. Швач, Полевой и Ярцев уходят в комнату Штубе. Ксения подходит к стенному трюмо.

Ксения. Мальчишка! Шенок! Даже целоваться не умеет. Обслюнявил.

Тихо входит Татьяна.

Татьяна. Ксения, кто здесь так громко разговаривал? Я только легла отдохнуть... и разбудили.

Ксения. Гости от Лео уходили.

Татьяна. А Лео у себя?

Ксения. Нет. Он тоже ушел, в собрание.

Татьяна. Жаль. (*Поворачивается, чтобы уйти.*)

Ксения. Постой. У тебя, кажется, папин большой бинокль?

Татьяна. Да, у меня в комнате.

Ксения. Ты мне не дашь его на сегодня?

Татьяна. Пожалуйста. Ты что, в театр? Поздно ведь. Десятый час.

Ксения. Нет, не в театр. Я на набережную.

Татьяна. Ночью на набережную? В такое время? Зачем?

Ксения (*спохватившись*). Ради бога, молчи! Это государственная тайна.

Татьяна (*быстро*). Государственная тайна?

Ксения. Ну да... Мне сказал Володька, и я поклялась на крестике, что никому...

Татьяна. Ты поклялась? В чем? Говори!

Ксения. Но я не могу...

Татьяна (*хватает ее за руку*). Нет, ты скажешь!.. Иначе я открою окно, крикну на всю улицу, созову матросов...

Ксения. Что с тобой? Почему у тебя такие сумасшедшие глаза? Не смотри на меня так!

Татьяна (*в исступлении*). Говори! Будь хоть раз честной!.. Сестра!.. Я знаю... я подозреваю, что затеяно преступление. Слышишь! Преступление!.. Оно может обрушиться на наш дом...

Ксения. Ну, какое же отношение это может иметь к нам? Они хотят взорвать «Зарю»... А я только хотела посмотреть.

Татьяна (*с силой оттолкнув Ксению*). Ты?.. Посмотреть? На взрыв? На гибель сотен людей!.. На смерть отца?! В бинокль?!

Ксения (*вдруг сообразив*). Боже! Я совсем забыла, что там папа... (*Пауза.*) Но ведь папа — командир, у него катер... Он успеет уехать.

Татьяна. Замолчи!.. О бездушные, подлые, беспощадные!.. Скорей! Скорей! Только бы успеть. Только бы не поздно! (*Отбрасывает кинувшуюся к ней Ксению и выбегает.*)

Ксения (*протянув вслед руки, кричит в растерянном отчаянии*). Тата!.. Таточка, дорогая! Прости меня! Я не виновата! Я не хочу взрывать папу... Мне страшно, Таточка! Я глупая, я ни черта не понимаю в этой проклятой политике! (*Плачет.*)

Занавес

## ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Обстановка второго действия. Ночь. За бортом крейсера — огоньки судов на рейде. Иногда по небу проползает луч прожектора. Свист осеннего ветра, шум дождя, плеск волн. Темно, только у площадки трапа горит синяя лампочка. Палуба пуста. У площадки трапа стоит часовой. На колпаке вентиляционной трубы сидит пожилой матрос, покуривая трубочку.

Часовой. Значит, дяденька Митрич, в ночь и двинемся на Питер?

Пожилой матрос. Значит, и двинемся, племян.

Часовой. А жутко все же. Как же так, против своих-то? Поди и стрелять придется?

Первый мичман выходит из-за каземата.

Первый мичман. Часовой!

Часовой. Есть часовой, господин мичман.

Первый мичман. Внимательно наблюдать за рейдом. Обязательно окликать все шлюпки. Если к трапу будет подходить чужая шлюпка, вызывайте караульного начальника и до его прихода никого на палубу не пускать. В случае необходимости применяйте оружие. Понятно?

Часовой. Так точно, господин мичман. Шлюпки окликать, при подходе чужих вызывать караульного начальника, в случае нужды действовать оружием.

Первый мичман. Правильно. На службе давно?

Часовой. Первый год.

Первый мичман. Толково. Матрос из вас может выйти.

Часовой. Стараюсь, господин мичман.

Первый мичман уходит.

(Смеется.) Егозит мичманок.

Пожилой матрос. А ты не смейся. Служба, племян, — всегда служба. Он молодой, а в молодости до службы всегда рвение имеешь.

Часовой. Так как же, дяденька Митрич? Я говорю, поди в своих стрелять придется? Поясните.

Пожилой матрос. В своих? Это где же ты свойственников себе нашел? Среди буржуев?.. Эх ты, телка молочная.

Часовой. Да хоть и буржуй, а все народу-то своего, русского.

Пожилой матрос. Народ-то русский, а у тебя, сопляка, мозг, выходит, узкий. Ты послушай, что я тебе, старослужащий, расскажу. Был и я когда-то таким же вот голоногим первогодком вроде тебя, в девятьсот пятом году, в Черном море на «Князе Потемкине». Так вот так же, когда мы с Тендры в Одессу пришли после бунта, офицеров пересбивши, — ох, большие дела можно было сделать, когда бы не эта вот жалость глупая. Генерал Коханов рабочих в городе расстреливал сотнями, а мы всерьез огонь открыть побоялись. Тоже думали: хоть и буржуи, а свои, русские. Из-за этой дурасти и сгибли. Нас в Феодосии эти «свои» небось не пожалели, как зайцев на баркасе перещелкали, как мы в порт за харчем пошли. Так что ты, паренек, себе заруби: раз винтовку поднял — попусту не пугай. Бей в самое сердце, хоть отец родной перед тобой встанет. Тогда только свободу добудешь по-настоящему, когда жалость от себя отгонишь и в праведную, последнюю злобу войдешь...

Часовой. Погодите, дяденька... Не иначе как весла плещут поблизу... Кто-то гребет... (*Перегибается через борт.*)

Пожилой матрос. Не... почудилось... Эх, парнишка, об одном печалюсь: что не дожил дорогой наш товарищ потемкинец, Афоня Матюшенко, до разделки с гадами. Повесили палачи, будь они трижды прокляты. А уж как он бы порадовался теперь.. Настоящий человек был...

Из-за каземата, крадучись, выходит Ш в а ч и незаметно подходит к беседующим.

Ш в а ч. Это кто здесь?

Пожилой матрос. Тыфу, нечистая сила, как напугал... Чего лазаешь, как кошка, тишком?

Ш в а ч. Ты, Митрич?.. Шел бы, товарищ, в низы... Знаешь ведь приказ комитета, чтоб без нужды на палубе никто не болтался. Неужто сознательности в тебе нет? А еще старый народный боец-потемкинец.



Пожилой матрос. Ну-ну. Ты меня уму-разуму не учи. Сами в штиблетах на лаке ходили... А вышел на срок — трубочку раскурить, да вот малого наставлял... А теперь и вздремнуть до аврала можно... (*Уходит.*)

Швач отходит к борту и всматривается в темноту.

Часовой. Не видать?

Швач (*быстро обернулся*). Чего не видать?

Часовой. Да слышалось мне с минуту, будто шлюпка идет близко. Весла заплескали.

Швач. В ушах у тебя, недоросля, плещет. (*Отходит от борта, приближаясь к часовому.*)

Часовой. Хоть бы смена скорей...

Швач. Придет время — так и будет. А тебе что, не терпится?

Часовой. Жутко что-то... На сердце щемит.

Швач (*роется в карманах*). А, холера твоей матери!..

Часовой. Вы кого, господин боцман?

Швач. Да спички. Спички загубил... У тебя нет ли?

Часовой. Имеются. (*Отставляет винтовку к борту, достает коробок и, прикрывая ладонями, зажигает спичку.*)

Швач, оглянувшись, наносит ему молниеносный удар по голове рукояткой револьвера. Часовой беззвучно валится. Швач подхватывает его и перебрасывает за борт.

Швач. Глотай рассол, жаба вологодская. (*Отходит к корме, перегибается через борт.*) Ваше высокоблагородие... Ваше...

Голос Штубе (глухо): «Конец подай».

Есть конец. (*Бросает конец.*)

Секунду спустя через борт перелезает Штубе, переодетый матросом, с наклеенной бородой.

Штубе (*отряхивается*). Почему канителили столько времени, собачий сын? Волна ведь... Тузик залило, еле догреб. Да еще о борт колотило.

Швач. Виноват, господин лейтенант... несподручно было. Мешали.

Штубе. Мешали... Шляпа чертова... Никто не видал?

Швач. Никак нет.

Штубе. Все сделал?

Швач. Так точно. Погреб отомкнут, переборки тоже.

Штубе. Молодец. Будешь представлен к награде.

Швач. Рад стараться.

Штубе. Тсс... Обалдел, идиот? Орешь, как на базаре... За дело! Марш вперед!.. Если что — свистни.

Швач уходит. Штубе следует за ним. Пауза. Потом слышны глухой визг сирены и гул мотора подходящего катера. Через мгновение на палубу поднимаются Берсенов и Годун.

Берсенов. Видите сами, Артем Михайлович... Я должен просить комитет принять самые решительные меры к побуждению команды нести службу как следует.

Годун. Вижу... Я им задам припарку. Никого. Дрыхнут, сволочи, как на печке в хате. Ну, погодите. *(Свистит.)*

Первый мичман *(выходя из-за каземата)*. В чем дело? Кто тут рассвистался?

Годун. Вахтенного начальника! Мигом!

Первый мичман. Есть вахтенный начальник. *(Подходит, узнает Берсенова, рапортует.)* Господин капитан первого ранга, за время четвертой вахты на ввсренном вам крейсере никаких происшествий не случилось.

Берсенов. Не случилось? А почему шлюпки подходят без оклика? Где у вас часовой? Что он делает?

Первый мичман. Люди все убраны в низы по приказу судкома, господин капитан первого ранга... Часовой же все время был здесь. Пять минут назад я проверил посты и разговаривал с ним.

Берсенов. Непонятно. Где же он?

Годун *(яростно)*. Ну? Где же часовой, вас спрашивают? Что он, растаял? Украли? Да что вы стоите как пень? Разыскать часового и немедленно под арест.

Берсенов *(заметив прислоненную к борту винтовку.)* А это что?

Первый мичман. Винтовка?..

Годун. Нет. Чайная ложечка, сто чертей вашей мамаше. Пьяны вы, что ли?

Первый мичман. Позвольте, товарищ Годун...

Годун. Ни черта не позволю... Вы отвечаете за вахту или я?

Первый мичман. Я...

Годун. Так чтоб мне был часовой. Из-под земли, из-под воды, а достаты! А то я вас на клотике за ноги подвешу.

Берсенев. Ничего не могу понять... Несчастье? Упал за борт? Но винтовка аккуратно поставлена. Сам бросился? Не может быть. Почему?

Первый мичман. Вероятно, ушел самовольно...

Годун. Я его уйду... Я его под киль на пост поставлю салаку караулить. Ищите.

Берсенев (*первому мичману*). Караул наверх!

Первый мичман. Боцман!

Вбегает Швач.

Свистать караул наверх.

Швач. Есть свистать караул наверх! (*Свистит вызов.*)

Годун. Что вы хотите делать, Евгений Иванович?

Берсенев. Прежде всего немедленно осмотреть крейсер по всем закоулкам. Сверху донизу.

Швач (*в сторону*). Вот так штука... Пронеси, пречистая мати.

Вбегает и строится караул.

Годун (*первому мичману*). Пока отправляйтесь под арест! После разберемся. (*Караульному начальнику.*) Арестовать при каюте. Поставить часового.

Двое матросов становятся около первого мичмана и уводят его. Палуба заполняется выбегаящими со всех сторон матросами.

Голоса. Что за шум, а драки нет?

— Зачем караул? Кто вызывал?

— Ни черта не поймешь, темно, как в брюхе.

Годун. Кто позволил собираться? Без вас не обойдутся? Марш в низы!

Первый матрос. Это ты, Артем? С чего буза варится?

Годун. Тебя не спросили. Катись вниз, говорят.

Второй матрос. Да ты что, заелся? И впрямь в адмиралы лезешь? Раз команда в волнении — должен пояснить. На то и выбрали в комитет.

Годун. Да некогда рассусоливать... Часовой у трапа исчез.

Движение среди матросов

Четвертый матрос. Как это исчез?

Годун. А я что, больше тебя знаю? Исчез... На небо вознесен святым духом. В божьи угодники записался, дурья твоя башка... Искать надо... Боцманá!

Швач и Еремеев выступают вперед.

Собрать людей, обшарить крейсер по всем углам. Первым делом по погребам. Запереть все переборки... Остальные, расходись!

Швач (*перекрестясь украдкой*). Святый боже... Найдут — пропаду ни за грош. (*Громко.*) Товарищ Годун! Я так полагаю, по своему понятию, что допрежь как крейсер обыскивать, надо командира Берсенева арестовать.

Годун. Что? Это кто воынит?

Швач. Беспременно... Не иначе, как евонное это дело с часовым.

Годун. Молчать!

Швач. Не ори. Не велик кулик... Дело говорю, потому — сведения имею...

Третий матрос. И то... Не прыгай выше марса, Артемка. Или от власти очумел? Может, в самом деле человек что знает.

Матросы тесно окружают Швача, Годуна и Берсенева.

Годун. Ладно... Выматывай, рыжая тварь. Но ежели наврешь...

Берсенов. Погодите, Годун. (*Пауза.*) Не нужно ничего... Я слагаю с себя командование крейсером.

Движение. Изумленные возгласы.

Годун (*удивленно*). Евгений Иванович, это что ж значит?

Голос. Струсил!.. Хвостом палубу замечает.

Берсенов. Я могу командовать кораблем только при условии полного и взаимного доверия. Но поскольку возникают какие-то подозрения, кладущие пятно на мою честь, я оставляю пост. Оправдываться считаю излишним.

Движение.

Голос. Ого-го!

Годун. Неправильно заговорили, Евгений Иванович. Липовая эта линия, от дворянской гордости. Вы перед нами не гордитесь. Безгрешному оправдаться — не стыд. А заподозрить и меня можно. Время такое... штурмовое... На десять баллов.

Берсенев. Я сказал, что до оправданий не унижусь. И крейсером больше не команду.

Движение.

Голос. И не надо. Без тебя справимся!

Пожилой матрос (*выступая вперед*). Прости, Евгений Иванович, но послушай матросское слово. Мы с тобой, почитай, без малого четверть века отслужили. Ты — наверху, я — внизу, а соленую флотскую службу вместе хлебали. Так не обессудь. Сам знаешь — меж тобой и нами вражды нет. В Гельсинке скольких офицеров под мост спустили, а тебя не то чтоб пальцем тронуть, а сами над собой командиром поставили, потому что видели твою душу. Были бы все офицеры такие, то и желать нечего... А только раз встали и мы теперь на смертную дорожку за свое дело, то вправе каждого перевернуть до дна, высмотреть, какой у него фарватер. Не годись перед матросом, Евгений Иванович.

Годун. Правду говорит Митрич... Вникните, Евгений Иванович. Все равно никто кляузе веры не даст... (*Швачу.*) Говори, ты, богом суродованный.

Швач. Все выскажу. Не дам больше обманывать матросов, как я тоже есть сознательно за революцию и сочувствую большевицкой партии.

Годун. Про партию пока помолчи, выкладывай дело. Да помни: на мизинец сбрыхнешь — зови попов на свою панихиду.

Швач (*оглянувшись, с затравленной яростью*). Братцы! Матросы дорогие! Слушайте... Водят вас за нос, а вы вслепую бредете, что бараны в стаде. За ручку с вами господин капитан первого ранга здоровается, матросу родным братом прикидывается, свободу вместе защищает, а промежду прочим, по ночам в евоном доме контровое офицерье сходится... Думает-гадает, как свободу эту самую с вами вместе в мешок засунуть да в море утопить.

Годун. Врешь, гад!

Швач. Зачем мне врать? Сам видел, сам слышал! Ихний зятек господин лейтенант фон Штубе меня в ту контрреволюцию тянул... Думал, как я есть боцман старого режима, то продам свою душу господскому отродью. Вижу, черное дело затевают господа офицеры, я и притворись, что согласен. Через то я все ихние секреты распознал. Да чего боле: нонче еще из командировой

квартиры двоих контровых шкур задним ходом выводил, чтоб патруля миновать. Полковника да поручика...

Берсенов делает резкое движение к Швачу.

Годун (*хватая Швача за грудь*). Врешь!.. Задавлю!

Швач. Лопнуть мне на этом месте... правда.

Нарастающий шум среди матросов.

Голоса. Ай да Евгений Иванович!

— Вона что?..

— Прикидывался, выходит.

Годун (*отшвыривая Швача*). Нет! Не верю. Евгений Иванович, скажите сами. Переметной суме, шкуре этой боцманской, не поверю. Сами ответьте. Что скажете — на том и конец.

Пауза. Напряженная тишина.

Берсенов (*медленно и с трудом*). Не знаю... Может быть, и правда...

Годун. Правда?!

Берсенов. Может быть.

Третий матрос. Как так «может быть»? Было или не было?

Пятый матрос. Нечего вилать.

Берсенов. Я говорю — не знаю. Раз боцман говорит — возможно, что было...

Взрыв криков.

Пятый матрос. Да что это, братва!.. Надсмешки, что ли?

Четвертый матрос. Лучше говори честью, а го заставим.

Второй матрос. Полундра, командир!

Матросы вплотную надвигаются на Берсенева.

Швач (*в сторону*). Вывезло пока... Спаси, господи, люди твоя. Только бы время отсрочить.

Годун (*отстранив наседающих, в чрезвычайном волнении*). Евгений Иванович, что ж это? Я в вас, как в себя, верил, а вы свернули? С нашей дороги свернули? Говорил я вам, вспомните, давеча, как адмирала проводили: откажитесь, раз силы в себе не чувствуете на своих руку поднять. Говорил? Ушли бы тогда по-честному, никто и худым словом не помянул бы. А вы? Руку тогда

мне жали, на союз, на одну дорогу... Как мне теперь с вами? Как же? Предали?

Берснев. Годун!..

Годун. Что Годун? Не о чем больше говорить. Другой разговор будет. За веру нашу потоптанную, за обман... (*Караульному начальнику.*) Арестовать!

Часовые встают около Берснева.

Увести! Перед всем народом судить будем.

Крики среди матросов.

Первый матрос. Куда там уводить!

Второй матрос. На месте судить...

Пятый матрос. Распознать, чего задумал, нуда.

Четвертый матрос. И распознавать нечего. Колосник на шею — и в воду.

Годун. Тихо! Я сказал — увести.

Шестой матрос (*выступает вперед; бескозырка на нем набекрень, чуб завинчен штопором, в зубах папироска, вид наглый*). А ну, браточки, дай-ка мне слово... Это что ж происходит на данный момент? Нашли контрреволюцию, а эту самую контрреволюцию от нас хотят под замочек запереть, чтоб ей сладко спалось? А завтра и вовсе на бережок сплавят, пушай живет-благоденствует?

Годун. Ты опять за свое, паскуда?

Шестой матрос. Слыхали, браточки? Ежели человек за революцию, так его господин новый адмирал паскудой обзывает? Вот оно как обертывается. А давайте пощупаем, с какого теста это самое наше начальство... Свой своему поневоле брат. А позвольте вас спросить: кто этой контре первым дружкой был? Кто в командирской квартире чай-лимоны распивал, командирские сапожки ваксой наяривал? Вот он самый и есть. (*Указывает на Годуна.*)

Годун рванулся к нему, матросы загородили ему дорогу.

Видите, браточки, как его новое благородие нервами страдает? Боятся, что ихнему дружку белые косточки повредят... (*Вынимает из кармана финку.*) А вот мы сейчас поглядим, какого цвета барская кровушка. (*Делает шаг к Берсневу.*)

Годун (*разбросал матросов и встал перед Берсневым*). Стой! Не позволю! Прежде меня кончайте, а живой — его тронуть не дам.

Первый матрос (*во всю ночь*). Стоп!.. Катер у борта.

Все обернулись. Потом кинулись к борту. Воспользовавшись замешательством, Годун вырывает финку из рук шестого матроса, сокрушительным ударом сбивает его с ног и кидается к трапу.

Пятый матрос. Чей катер?  
Голос (*из-за борта*). Центробалт.  
Годун. Свет на трап!

Над трапом ярко вспыхивает звездочка. Мгновение спустя на палубе появляются Панов и Татьяна. Берснев стоит между часовыми, бледный, но внешне спокойный.

Пятый матрос. Тю!.. Нечистая сила. Гляди, братва, баба!

Четвертый матрос. Что за оказия?

Годун. Здорово, Панов! Каким ветром? С какого румба?

Панов. Будь здоров, Артем. Поди-ка на минутку. (*Берет Годуна под руку и отводит.*)

Татьяна, оглядевшись, увидела отца и рванулась к нему. Часовые загородили дорогу.

Берснев. Тата!.. Что случилось? Зачем ты здесь?

Татьяна (*отчаянно*). Папа! Милый!.. (*Бросается между опешившими часовыми и прижимается к отцу.*)

Годун. В чем дело?

Панов (*вполголоса*). У тебя все благополучно?..

Годун. Не очень... Да что стряслось?

Панов. Сам не могу понять... Заседали мы сейчас в минной школе, и вдруг ворвись на заседание эта дамочка. В крик, в истерику: «Вы тут сидите, а там «Зарю» взрывают!» Понимаешь? Сама как ума лишилась. Водой отпаивали — не помогает... Бьется, плачет: «Скорей, время теряет!» Про мужа что-то... про офицерский заговор... Еще черт те что... Словом, заварная буза. Видим, от нее толку не добьешься, вовсе развинтилась. Ну и послали меня с ней — проведать. Баба бабой, а чем черт не шутит. По дороге она мне про какого-то боцмана рыжего плела.

Швач, прислушивавшийся к разговору, попятился и скрылся за казематом.

Про отца... И все плачет... Может, бредни, а может...

Годун. Стой! Понял! Все понял! Остальное после. Теперь секунда дороже золота. (*Матросам.*) В погреб.



раздуй вашу мать! Слома голову! Панов, беги с ними. Кого найдешь — волокни сюда живьем.

Панов с несколькими матросами убегает.

Швач! Швач! (*Остальным матросам.*) Ловите рыжую гадюку! Чтоб в секунду был здесь.

Все матросы убегают.

Эх, Евгений Иванович, ну чего молчали, к кому офицеры шлялись? Благородство? Из-за этого благородства дурного чуть с жизнью не простились!..

Татьяна. Что здесь было?

Годун. Что было, то сплыло. Больше не будет. (*Часовым.*) Отходи, ребята, больше стеречь некого. (*Замечает поднимающегося с палубы шестого матроса, который держится за голову.*) А вот эту погань приберите пока в канатный ящик. С ним завтра еще разговор будет. Живо!

Часовые подхватывают шестого матроса под руки и утааскивают. За сценой возникает гул. Матросы выволакивают отбивающегося Штубе.

Первый матрос. Катись, катись, гад, яблочком.

Второй матрос. Ай! Укусил, стервец!

Третий матрос. Садани ему по частоколу!

Штубе (*кричит*). Не смей бить! Подлецы!

Четвертый матрос. Ишь подал годос!

Штубе ставят перед Годуном.

Третий матрос. В самом погребе захватили.

Пятый матрос. Закал к мине прилаживал. Не попадись — взлетели бы на ходу к чертовой бабушке.

Годун (*подходит, вглядывается и взмахом руки срывает приклеенную бороду Штубе*). Вот так лучше. А то сразу не разберешь. Что ж, остались без трех на бубнах, ваше высокоблагородие. Кто помогал?

Штубе молчит.

(*Берется за паган.*) Кто? Говори, моль поганая, а то пулю глотнешь.

Татьяна. Годун... не нужно.

Годун (*обернулся, зло*). Что? Жалко стало?.. Эх, вы!..

Татьяна. Ведь я предупредила... обезвредила... пощадите его.

Берсенов *(стараясь увести Татьяну)*. Тата... пойдём... Тебе нельзя тут оставаться.

Татьяна. Годун!.. Он теперь безопасен. Он больше не посмеет. Он трус!

Штубе *(рванулсЯ)*. Замолчи! Я ненавижу тебя! Я не хочу пощады из твоих рук.

Татьяна прячет лицо на груди отца. Вбегает еще группа матросов с Пановым, таща Швача.

Пожилой матрос. Поймали. В баталерке под бушлаты залез.

Годун. Ставь рядом.

Швача ставят рядом со Штубе.

Ну, братва, на ваш суд.

Общий крик: Кончаты! За борт!

Годун. Амба! *(Делает жест рукой сверху вниз.)*

Матросы набрасываются на Штубе и Швача.

Швач *(кричит)*. Товарищи!.. Братики!.. Помилосердствуйте... Больше не буду...

Пожилой матрос. Кричи не кричи — не помилуем. Из-за вас, шкур сверхсрочных, на «Потемкине» дело погибло. Больше не обманете.

Короткая борьба у борта. Два тела, поднятые десятками рук, летят за борт.

Четвертый матрос. Плыви, мой челн, по воле волн!..

Третий матрос. Царю морскому кланяйся, пададь!

Пятый матрос. Кончено! Чисто за бортом, братишки.

За сценой крик: «Годун! Товарищ Годун!» Все стихает.

Годун. Чего?

Радист *(вбегая)*. Радио... от Центробалта... Сниматься с якоря немедленно. Приказ Ленина.

Годун. Давай!.. *(Выхватывает из рук радиста бланк.)*

Татьяна *(освободясь от удерживающего ее Берсенова)*. Артем Михайлович!

Годун не слышит.

Годун... где он?

Годун (*отрываясь от бланка*). А?  
Татьяна. Где он?  
Годун. Там! (*Резкий жест за борт.*)

Татьяна пошатнулась. Берсенов подхватил ее.

(*Радостно взмахнул бланком.*) Братишки! Товарищи!  
На Питер идем! Дождались праздника!

Радостный гул.

Пожилой матрос. Дожили до светлого дня...  
Эх, дружок Афоня, дадим буржуям поминки за твою душу!..

Годун (*шагнул к Берсенову*). Евгений Иванович...  
не время обидами считаться. Нынче землю вверх дном  
ставим, идем головным в бурю, в мировой шторм, язви  
его душу! Командуйте съемку!

Берсенов. Хорошо, Годун!.. Не до обид. Боцман!  
Свистать всех наверх, с якоря сниматься!

Еремеев. Есть свистать всех наверх.

Авральяные свистки, суматоха, беготня. Входит второй мичман.

Второй мичман. По местам стоять, с якоря сниматься.

Панов. Ну, Артем, широкий путь — вольная дороженька. Дай тебе нашего матросского счастья!

Целуются.

Годун. Прощай, друг! Передай Центробалту — не посрамим. Зубами Советскую власть вырвем.

Панов. Ясно. (*Вполголоса.*) Дамочку я обратно свезу. Приглядеть надо. Вовсе скисла.

Годун. Сейчас. (*Татьяне.*) Земной поклон вам, Татьяна Евгеньевна. Не от меня, от всех. Кабы не вы, покормили б мы рыбку, не дойдя до Питера.

Татьяна молчит.

А что до этого, то подумайте... Вспомните, как намердники мы с вами про арифметику разговаривали. Поймете и не осудите.

Татьяна. Я никого не осуждаю.

Годун. А вот это и плохо. На свете не одни праведники. Кого-то и судить надо. Вы это поймите. А теперь езжайте домой. Панов вас доставит.

Берсенов. Поезжай, Тата... Скажи маме, чтоб за меня не тревожилась.

Татьяна. Береги себя, папа... (*Целует его. Поворачивается к трапу и вдруг протягивает руку Годуну.*)  
Счастливого пути, Артем Михайлович.

Годун. От чистого сердца?

Татьяна. Конечно!

Годун. Ну, прощайте! (*Провожает Панова и Татьяну к трапу.*)

Панов и Татьяна спускаются.

Второй мичман (*Берсеневу*). Разрешите шпиль, господин капитан первого ранга?

Берснев кивает.

Пошел шпиль!

Голос Еремеева (за сценой): «Нажать шпиль, стопора снять.  
Пошел шпиль!»

Слышен грохот якорной цепи.

Панов (*из-за борта*). Хорошей глубины под килем, братишки!

Крики: «Спасибо!», «Счастливо оставаться!». Слышны сирена и стук уходящего катера. Голос Еремеева (за сценой): «Встал якорь!»

Берснев (*выходя на середину*). Флаг перенести.

Сигнальщик развязывает гафельный фал с ввязанным в него комочком флага. Раздергивает фал.

Под флаг! Смирно!

Развернувшееся полотнище андреевского флага начинает уходить вверх. Годун кидается к сигнальщику и выхватывает флаг. Флаг падает вниз.

Годун. Стой! К богу царский крест. Двести лет нас на нем распинали! Хватит! (*Сигнальщику.*) Давай наш. (*Срывает андреевский флаг и бросает за борт.*)

Пожилой матрос. Правильно, Артем! Подымай нашенский. В память «Потемкина».

Сигнальщик ввязывает в клеванты красное полотнище. Матросы стоят неподвижно.

Годун (*вскочив на люк*). Братья! Товарищи! В поход! В великий поход! За нашу власть, за землю, за счастье, за волю!.. Пойдем полным ходом в разлом... ломать навеки буржуйский хомут. Будем драться, как никогда не дрались, и никто из нас не ступит шагу

назад, пока не вырвет победы. А мы вырвем ее! Какие бы грозы и бури ни ждали нас впереди, мы пройдем сквозь них с поднятым флагом к победе. Мы нашли свободу и никогда не отдадим ее никому. И кто бы ни захотел отнять ее у нас, кто бы ни тянул к ней жадные руки, — мы отхватим эти руки и забьем в могилу врага осиновый кол. Вперед, товарищи! Смирно! Флаг под-  
нять!

Сигнальщик поднимает флаг. Красное полотнище, подхваченное порывом ветра, торжественно взвигается к гафелю.

Четвертый матрос. Даешь власть Советскую на веки веков! Ур-ра!

Могучее «ура» раскатывается по крейсеру.

**З а н а в е с**

*1927—1944 г.*

# СОРОК ПЕРВЫЙ

*Рассказ*



## ГЛАВА ПЕРВАЯ, написанная автором исключительно в силу необходимости

Сверкающее кольцо казачьих сабель под утро распалось на мгновение на севере, подрезанное горячими струйками пулемета, и в щель прорвался лихорадочным последним упором малиновый комиссар Евсюков.

Всего вырвались из смертного круга в бархатной котловине малиновый Евсюков, двадцать три и Марютка.

Сто девятнадцать и почти все верблюды остались распластанными на промерзлой осыпи песка, меж змеиных саксауловых петель и красных прутиков тамариска.

Когда доложили есаулу Бурье, что остатки противника прорвались, повертел он звериной лапищей мохнатые свои усы, зевнул, растянув рот, схожий с дырой чугунной пепельницы, и рыкнул лениво:

— А хай их! Не гоняться, бо коней морить не треба. Сами в песке подохнут. Бара-бир!

А малиновый Евсюков с двадцатью тремя и Марюткой увертливым махом степной разъяренной чекалки убегали в зернь-пески бесконечные.

Уже не терпится читателю знать, почему «малиновый Евсюков»?

Все по порядку.

Когда заткнул Колчак ощеренным винтовками чело-вечьим месивом, как тугой пробкой, Оренбургскую линию, посадив на зады обомлелые паровозы — ржаветь в глухих тупиках, — не стало в Туркестанской республике черной краски для выкраски кож.

А время пришло грохотное, смутное, кожаное.

Брошенному из милого уюта домовых стен в жар и ледень, в дождь и ведро, в пронзительный пулевой свист человеческому телу нужна прочная крышка.

Оттого и пошли на человечестве кожаные куртки.

Красились куртки повсюду в черный, отливающий сизью стали, суровый и твердый, как владельцы курток, цвет.

И не стало в Туркестане такой краски.

Пришлось ревштабу реквизировать у местного населения запасы немецких анилиновых порошков, которыми расцвечивали в жар-птичьих сполохи воздушные шелка своих шалей ферганские узбечки и мохнатые узорочья текинских ковров сухогубые туркменские жены.

Стали этими порошками красить бараньи свежие кожи, и запылала туркестанская Красная Армия всеми отливами радуги — малиновыми, апельсиновыми, лимонными, изумрудными, бирюзовыми, лиловыми.

Комиссару Евсюкову судьба в лице рябого вахтера вещсклада отпустила по наряду штаба штаны и куртку ярко-малиновые.

Лицо у Евсюкова сызмалолетства тоже малиновое, в рыжих веснушках, а на голове вместо волоса нежный утиный пух.

Если добавить, что росту Евсюков малого, сложения сбитого и представляет всей фигурой правильный овал, то в малиновой куртке и штанах похож — две капли воды — на пасхальное крашеное яйцо.

На спине у Евсюкова перекрещиваются ремни боевого снаряжения буквой «Х», и кажется, если повернется комиссар передком, должна появиться буква «В».

Христос воскрес!

Но этого нет. В пасху и Христа Евсюков не верит.

Верует в Совет, в Интернационал, чеку и в тяжелый вороненый наган в узловатых и крепких пальцах.

Двадцать три, что ушли с Евсюковым на север из смертного сабельного круга, красноармейцы как красноармейцы. Самые обыкновенные люди.

А особая между ними Марютка.

Круглая рыбачья сирота Марютка, из рыбацкого поселка, что в волжской, распухшей камыш-травой, широководной дельте под Астраханью.

С семилетнего возраста двенадцать годов просидела верхом на жирной от рыбных потрохов скамье, в брезентовых негнущихся штанах, вспарывая ножом серебряно-скользкие сельдяные брюха.

А когда объявили по всем городам и селам набор добровольцев в Красную, тогда еще гвардию, воткнула



вдруг Марютка нож в скамью, встала и пошла в негну-щихся штанах своих записываться в красные гвардейцы.

Сперва выгнали, после, видя неотступно ходящей каждый день, погоготали и приняли красногвардейкой, на равных с прочими правах, но взяли подписку об отказе от бабьего образа жизни и, между прочим, деторождения до окончательной победы труда над капиталом.

Марютка — тоненькая тростиночка прибрежная, рыжие косы заплетает венком под текинскую бурую папаху, а глаза Марюткины шалые, косо прорезанные, с желтым кошачьим огнем.

Главное в жизни Марюткиной — мечтание. Очень мечтать склонна и еще любит огрызком карандаша на любом бумажном клочке, где ни попадется, выводить косо клонящимися в падучей буквами стихи.

Это всему отряду известно. Как только приходили куда-нибудь в город, где была газета, выпрашивала Марютка в канцелярии лист бумаги.

Облизывая языком сохнувшие от волнения губы, тщательно переписывала стихи, над каждым ставила заглавие, а внизу подпись: *Стих Марии Басовой*.

Стихи были разные. О революции, о борьбе, о вождах. Между другими о Ленине.

Ленин герой наш пролетарский,  
Поставим статуй твой на площади.  
Ты низвергнул дворец тот царский  
И стал ногою на труде.

Несла стихи в редакцию. В редакции палили глаза на тоненькую девушку в колушке, с кавалерийским карабином, удивленно брали стихи, обещали прочитать.

Спокойно оглядев всех, Марютка уходила.

Заинтересованный секретарь редакции вчитывался в стихи. Плечи его подымались и начинали дрожать, рот расползался от несдерживаемого гогота. Собирались сотрудники, и секретарь, захлебываясь, читал стихи.

Сотрудники катались по подоконникам: мебели в редакции в те времена не было.

Марютка снова появлялась утром. Упорно глядя в дергающееся судорогами лицо секретаря немигающими зрачками, собирала листки и говорила нараспев:

— Значит, невозможно народовать? Необделанные? Уж я их из самой середки, ровно как топором, обрубая, а все плохо. Ну, еще потрудюсь,— ничего не поделаешь! И с чего это они такие трудные, рыба холера? А?

И уходила, пожимая плечами, нахлобучив на лоб туркменскую свою папаху.

Стихи Марютке не удавались, но из винтовки в цель садилась она с замечательной меткостью. Была в евсюковском отряде лучшим стрелком и в боях всегда находилась при малиновом комиссаре.

Евсюков показывал пальцем:

— Марютка! Гляди! Офицер!

Марютка прищуривалась, облизывала губы и не спеша вела стволом. Бухал выстрел, всегда без промаха.

Она опускала винтовку и говорила каждый раз:

— Тридцать девятый, рыба холера. Сороковой, рыба холера.

«Рыба холера» — любимое словцо у Марютки.

А матерных слов она не любила. Когда ругались при ней, супилась, молчала и краснела.

Данную в штабе подписку Марютка держала крепко. Никто в отряде не мог похвастать Марюткиной благосклонностью.

Однажды ночью сунулся к ней только что попавший в отряд мадьяр Гуча, несколько дней поливавший ее жирными взглядами. Скверно кончилось. Еле уполз мадьяр, без трех зубов и с расшибленным виском. Отделала рукояткой револьвера.

Красноармейцы над Марюткой любовно посмеивались, но в боях берегли пуще себя.

Говорила в них бессознательная нежность, глубоко запрятанная под твердую ярко-цветную скорлупу курток, тоска по покинутым дома жарким, уютным бабьим телам.

Таковыми были ушедшие на север, в беспросветную зернь мерзлых песков, двадцать три, малиновый Евсюков и Марютка.

Пел серебряными вьюжными трелями буранный февраль. Заносил мягкими коврами, ледянистым пухом увалы между песчаными взгорбьями, и над уходящими в муть и буран свистало небо — то ли ветром диким, то ли назойливым визгом крестящих воздух вдогонку вражеских пуль.

Трудно вытаскивались из снега и песка отяжелевшие ноги в разбитых ботах, хрипели, выли и плевались голодные шершавые верблюды.

Выдутые ветрами такыры блестили соляными кристаллами, и на сотни верст кругом небо было отрезано от земли, как мясничьим ножом, по ровной и мутной лкнии низкого горизонта.

Эта глава, собственно, совершенно лишняя в моем рассказе.

Проще бы мне начать с самого главного, с того, о чем речь пойдет в следующих главах.

Но нужно же читателю знать, откуда и как появились остатки особого гурьевского отряда в тридцати семи верстах к норд-весту от колодцев Ка́ра-Кудук, почему в красноармейском отряде оказалась женщина, отчего комиссар Евсюков — малиновый и много еще чего нужно знать читателю.

Уступая необходимости, я и написал эту главу.

Но, смею уверить вас, она не имеет никакого значения.

## ГЛАВА ВТОРАЯ,

**в которой на горизонте появляется темное пятно,  
обращающееся при ближайшем рассмотрении  
в гвардии поручика Говоруху-Отрока**

От колодцев Джан-Гельды до колодцев Сой-Кудук семьдесят верст, оттуда до родника Ушкан еще шестьдесят две.

Ночью, ткнув прикладом в раскоряченный корень, сказал Евсюков промерзшим голосом:

— Стой! Ночевка!

Разожгли саксауловый лом. Горел жирным копотным пламенем, и темным кругом мокрел вокруг огня песок.

Достали из выюков рис и сало. В чугунном котле закипела каша, едко пахнувшая бараном.

Тесно сгрудились у огня. Молчали, лязгая зубами, стараясь спасти тело от знобящих пальцев бурана, заползающих во все прорехи. Грели ноги прямо на огне, и заскорузлая кожа ботов трещала и шипела.

Стреноженные верблюды уныло позвякивали бубенцами в белесой поземке.

Евсюков скрутил козью ножку трясущимися пальцами.

Выпустил дым, а с дымом выдавил натужно:

— Надо обсудить, значит, товарищи, куды теперь подаваться.

— Куды подашься,— отозвался мертвый голос из-за костра,— все равно каюк-кончина. На Гурьев вертаться невозможно, казачни наперло — чертова сила. А, кроме Гурьева, смотреть некуда.

— На Хиву разве?

— Хы-ы! Сказанул! Шестьсот верст без малого по Каракумам зимой? А жрать что будешь? Вшей разве в портках разведешь на кавардак?

Загрохотали смехом, но тот же мертвый голос безнадежно сказал:

— Один конец — подыхать!

Сжалось сердце у Евсюкова под малиновыми латами, но, не показав виду, яростно оборвал говорившего:

— Ты, мокрица! Панику не разводи! Подыхать каждый дурень может, а нужно мозгом помуружить, чтобы не подохнуть.

— На хворт Александровский можно податься. Тама свой брат, рыбалки.

— Не годится,— бросил Евсюков,— было донесение, Деника десант высадил. И Красноводский и Александровский у беляков.

Кто-то сквозь дрему надрывисто простонал.

Евсюков ударил ладонью по горячему от костра колену. Отрубил голосом:

— Баста! Один путь, товарищи, на Арал! До Арала как добредем, там немаканы по берегу кочуют, поживимся и в обход на Казалинск. А в Казалинске фронт-овой штаб. Там и дома будем.

Отрубил — замолчал. Самому не верилось, что можно дойти.

Подняв голову, спросил рядом лежащий:

— А до Арала что шамать будем?

И опять отрубил Евсюков:

— Штаны подтянуть придется. Не велики князья! Сардины тебе с медом подавать? Походишь и так. Рис пока есть, муки тоже малость.

— На три перехода?

— Что ж на три! А до Черныш-залива — десять отседова. Верблюдов шестеро. Как продукт поедим — верблюдов резать будем. Все едино ни к чему. Одного зарежем, мясо на другого — и дальше. Так и допрем.

Молчали. Лежала у костра Марютка, облокотившись на руки, смотрела в огонь пустыми, немигающими кошачьими зрачками. Смутно стало Евсюкову.

Встал, отряхнул с куртки снежок.

— Кончы! Мой приказ — на заре в путь. Може, не все дойдем,— шатнулся испуганной птицей комиссарский голос,— а идти нужно... потому, товарищи... революция вить... За трудящих всего мира!

Смотрел поочередно комиссар в глаза двадцати трех. Не видел уже огня, к которому привык за год. Мутны были глаза, уклонялись, и метались под опущенными ресницами отчаяние и недоверие.

— Верблюдов пожрем, потом друг дружку жрать придется.

Опять молчали.

И внезапно визгливым бабьим голосом закричал иступленно Евсюков:

— Без рассуждений! Революционный долг знаешь? Молчок! Приказал — кончено! А то враз к стенке.

Закашлялся и сел.

И тот, что мешал кашу шомполом, неожиданно весело швырнул в ветер:

— Чево сопли повесили? Тюпайте кашу — дарма варил, что ли? Вояки, едрена вошь!

Выхватывали ложками густые комья жирного распухшего риса, ожигаясь, глотали, чтобы не остыло, но, пока глотали, на губах налипала густая корка застывшего противно-стеаринового сала.

Костер дотлевал, выбрасывая в ночь палево-оранжевые фонтаны искр. Еще теснее прижимались, засыпали, храпели, стонали и ругались спросонья.

Уже под утро разбудили Евсюкова быстрые толчки в плечо. Трудно разлепив примерзшие ресницы, схватился, дернулся по привычке окостенелой рукой за винтовкой.

— Стой, не ершись!

Нагнувшись, стояла Марютка. В желто-сером дыму бурана поблескивали кошачьи огни.

— Ты что?

— Вставай, товарищ комиссар! Только без шума! Пока вы дрыхли, я на верблюде прокатилась. Караван киргизий идет с Джан-Гельдов.

Евсюков перевернулся на другой бок. Спросил, захлебнувшись:

— Какой караван, что врешь?

— Ей-пра... провалиться, рыба холера! Немаканы! Верблюдов сорок!

Евсюков разом вскочил на ноги, засвистал в пальцы. С трудом поднимались двадцать три, разминая не свои от стужи тела, но, услышав о караване, быстро приходили в себя.

Поднялись двадцать два. Последний не поднялся.

Лежал, кутаясь в попону, и попона тряслась зыбкой дрожью от бьющегося в бреду тела.

— Огневица! — уверенно кинула Марютка, пощупав пальцами за воротом.

— Эх, черт! Что делать будешь? Накройте кошмами, пусть лежит. Вернемся — подберем. В какой стороне караван, говоришь?

Марютка взмахнула рукой к западу.

— Не далеко! Верстов шесть. Богаты немаканы. Вьюков на верблюдах — во!

— Ну, живем! Только не упустить. Как завидим, обкладывай со всех сторон. Ног не жалей. Которы справа, которые слева. Марш!

Зашагали ниточкой между барханами, пригибаясь, бодря, разогреваясь от быстрого хода.

С плоенной песчаными волнами верхушки бархана увидели вдалеке, на плоском, что обеденный стол, таковы, темные пятна вытянутых в линию верблюдов.

На верблюжьих горбах тяжело раскачивались вьюки.

— Послал восподь! Смиловивился, — упоенно прошептал рябой молоканин Гвоздев.

Не удержался Евсюков, обложил:

— Восподь?.. Доколе тебе говорить, что нет никакого воспода, а на все своя физическая линия.

Но некогда было спорить. По команде побежали прыжками, пользуясь каждой складочкой песка, каждым корявым выползком кустарника. Сжимали до боли в пальцах приклады: знали, что нельзя, невозможно упустить, что с этими верблюдами уйдут надежда, жизнь, спасение.

Караван проходил неспешно и спокойно. Видны уже были цветные кошмы на верблюжьих спинах, идущие в теплых халатах и волчьих малахаях киргизы.

Сверкнув малиновой курткой, вырос Евсюков на гребне бархана, вскинул на изготовку. Заорал трубным голосом:

— Тохта! Если ружье есть — кладь наземь. Без тамаши, а то всех удроблю.

Не успел докричать, — оттопыривая зады, повалились в песок перепуганные киргизы.

Задыхаясь от бега, скакали со всех сторон красноармейцы.

— Ребята, забирай верблюдов! — орал Евсюков.

Но, покрыв его голос, от каравана ударил вдруг ровный винтовочный залп.

Щенками тявкали обозленные пули, и рядом с Евсюковым ткнулся кто-то в песок головой, вытянув недвижные руки.

— Ложись!.. Дуй их, дьяволы!.. — продолжал кричать Евсюков, валясь в выгреб бархана. Защелкали частые выстрелы.

Стреляли из-за залегших верблюдов неведомые люди.

Непохоже было, чтобы киргизы. Слишком меткий и четкий был огонь.

Пули тюкались в песок у самых тел залегших красноармейцев.

Степь грохотала перекатами, но понемногу затихали выстрелы от каравана.

Красноармейцы начали подкатываться перебежками.

Уже шагах в тридцати, взглядевшись, увидел Евсюков за верблюдом голову в меховой шапке и белом башлыке, а за ней плечо, и на плече золотая полоска.

— Марютка! Гляди! Офицер! — повернул голову к подползшей сзади Марютке.

— Вижу.

Неспешно повела стволом. Треснул раскат.

Не то обмерзли пальцы у Марютки, не то дрожали от волнения и бега, но только успела сказать: «Сорок первый, рыба холера!» — как, в белом башлыке и синем тулупчике, поднялся из-за верблюда человек и поднял высоко винтовку. А на штыке болтался наколотый белый платок.

Марютка швырнула винтовку в песок и заплакала, размазывая слезу по облупившемуся грязному лицу.

Евсюков побежал на офицера. Сзади обогнал красноармеец, размахиваясь на ходу штыком для лучшего удара.

— Не трожь!.. Забирай живьем, — прохрипел комиссар.

Человека в синем тулупчике схватили, свалили на землю.

Пятеро, что были с офицером, не поднялись из-за верблюдов, срезанные колючим свинцом.

Красноармейцы, смеясь и ругаясь, тащили верблюдов за продетые в ноздри кольца, связывали по нескольку.

Киргизы бегали за Евсюковым, виляя задами, хватали его за куртку, за локти, штаны, снаряжение, бор-

мотали, заглядывали в лицо жалобными узкими щелками.

Комиссар отмахивался, убегал, зверел и, сам морщась от жалости, тыкал наганом в плоские носы, в обветренные острые скулы.

— Тохта, осадил! Никаких возражений!

Пожилой, седобородый, в добротном тулупе, поймал Евсюкова за пояс.

Заговорил быстро-быстро, ласково пришептывая:

— Уй-бай... Плоха делал... Киргиз верблюда жить пада. Киргиз без верблюда помирать пошел... Твоя, бай, так не делай. Твоя деньги хотит — наша дает. Серебряна деньга, царская деньга... киренка бумаж... Скажи, сколько твоя давать, верблюда назад дай?

— Да пойми же ты, дубовая твоя голова, что нам тоже теперь без верблюдов подыхать. Я же не граблю, а по революционной надобности, во временное пользование. Вы, черти немаканные, лехом до своих добредете, а нам смерть.

— Уй-бай. Никорош. Отдай верблюда — бири абаз, киренки бери, — тянул свое киргиз.

Евсюков вырвался.

— Ну тя к сатане! Сказал, и кончено. Без разговору. Получай расписку, и все тут.

Он ткнул киргизу нахимиченную на лоскуте газеты расписку.

Киргиз бросил ее в песок, упал и, закрыв лицо, завыл.

Остальные стояли молча, и в косых черных глазах дрожали молчаливые капли.

Евсюков отвернулся и вспомнил о пленном офицере.

Увидел его между двумя красноармейцами. Офицер стоял спокойно, слегка отставив правую ногу в высоком шведском валенке, и курил, с усмешкой смотря на комиссара.

— Кто такой есть? — спросил Евсюков.

— Гвардии поручик Говоруха-Отрок. А ты кто такой? — спросил в свою очередь офицер, выпустив клуб дыма.

И поднял голову.

И когда посмотрел в лица красноармейцев, увидели Евсюков и все остальные, что глаза у поручика синие-синие, как будто плавали в белоснежной мыльной пене белка шарики первосортной французской синьки.



## ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

о некоторых неудобствах путешествия в Средней Азии  
без верблюдов и об ощущениях спутников Колумба

Сорок первым должен был стать в Марюткином счете гвардии поручик Говоруха-Отрок.

Но то ли от холода, то ли от волнения промахнулась Марютка.

И остался поручик в мире лишней цифрой на счету живых душ.

По приказу Евсюкова выворотили пленнику карманы и в замшевом френче его, на спине, нашли потайной кармашек.

Взвился поручик на дыбы степным жеребенком, когда красноармейская рука нащупала карман, но крепко держали его, и только дрожью губ и бледностью выдал волнение и растерянность.

Добытый холщовый пакетик Евсюков осторожно развернул на своей полевой сумке и, неотрывно впиваясь глазами, прочитал документы. Повертел головой, задумался.

Было обозначено в документах, что гвардии поручик Говоруха-Отрок, Вадим Николаевич, уполномочен правительством верховного правителя России адмирала Колчака представлять особу его при Закаспийском правительстве генерала Деникина.

Секретные же поручения, как сказано было в письме, поручик должен был доложить устно генералу Драценко.

Сложив документы, Евсюков бережно сунул их за пазуху и спросил поручика:

— Какие такие ваши секретные поручения, господин офицер? Надлежит вам рассказать все без утайки, как вы есть в плену у красных бойцов и я командующий комиссар Арсентий Евсюков.

Вскинулись на Евсюкова поручицы ультрамариновые шарик.

Ухмыльнулся поручик, шаркнул ножкой:

— Monsieur Евсюков?.. Оч-чень рад познакомиться! К сожалению, не имею полномочий от моего правительства на дипломатические переговоры с такой замечательной личностью.

Веснушки Евсюкова стали белее лица. При всем отряде в глаза смеялся над ним поручик.

Комиссар вытащил наган:

— Ты, мошь белая! Не дури! Или выкладывай, или пулю слопаешь!

Поручик повел плечом:

— Балда ты, хоть и комиссар! Убьешь — вовсе ничего не слопаешь!

Комиссар опустил револьвер и чертыхнулся.

— Я тебя гопака плясать заставлю, сучье твоё мясо. Ты у меня запоешь, — буркнул он.

Поручик так же улыбался одним уголком губ.

Евсюков плюнул и отошел.

— Как, товарищ комиссар? В рай послать, что ли? — спросил красноармеец.

Комиссар почесал ногтем облупленный нос.

— Не... не годится. Это заноза здоровая. Нужно в Казалинск доставить. Там с него в штабе всё дознание снимут.

— Куда ж его еще, черта, таскать? Сами дойдем ли?

— Афицереи, что ль, вербовать начали?

Евсюков выпрямил грудь и цыкнул:

— Твое какое дело? Я беру — я и в ответе. Сказал! Обернувшись, увидел Марютку.

— Во! Марютка! Препоручаю тебе их благородие. Смотри в оба глаза. Упустишь — семь шкур с тебя сдеру!

Марютка молча вскинула винтовку на плечо. Подошла к пленному:

— А ну-ка поди сюды. Будешь у меня под караулом. Только не думай, раз я баба, так от меня убечь можно. На триста шагов на бегу сниму. Раз промазала, в другой раз не надейся, рыба холера.

Поручик скосил глаза, дрогнул смехом и изысканно поклонился:

— Польщен быть в плену у прекрасной амазонки.

— Что?.. Чего еще мелешь? — протянула Марютка, окинув поручика уничтожающим взглядом. — Шантрапа! Небось, кроме падекатра танцевать, другого и дела не знаешь? Пустого не трепли! Толай копытами. Шагом марш!

В этот день заночевали на берегу маленького озера.

Из-под льда прелью и йодом воняла соленая вода.

Спали здорово. С киргизских верблюдов снимали кошмы и ковры, завернулись, укутались — тёплень райская.

Гвардии поручика на ночь крепко связала Марютка шерстяным верблюжьим чумбуром по рукам и ногам,

завила чумбур вокруг пояса, а конец закрепила у себя на руке.

Кругом ржали. Лупастый Семянный крикнул:

— Глянь, бра, Марютка миловово привораживает. Наговорным корнем!

Марютка повела глазом на ржущих.

— Брысь те к собакам, рыба холера! Смешки... А если убежит?

— Дура! Что ж, у него две башки? Куды бечь в пески?

— В пески не в пески, а так вернее. Спи ты, кавалер чумелый.

Марютка толкнула поручика под кошму, сама привалилась сбоку.

Сладко спать под шерстистой кошмой, под духмяным войлоком. Пахнет от войлока степным июльским зноем, полынью, ширью зернь-песков бесконечных. Нежится тело, баюкается в сладчайшей дреме.

Храпит под ковром Евсюков, в мечтательной улыбке разметалась Марютка, и, сухо вытянувшись на спине, поджав тонкие, красивого выреза, губы, спит гвардии поручик Говоруха-Отрок.

Один часовой не спит. Сидит на краю кошмы, на коленях винтовка-неразлучница, ближе жены и зазнобушки.

Смотрит в белесую снеговую сутемь, где глухо брякают верблюжьи бубенчики.

Сорок четыре верблюда теперь. Путь прям, хоть и тяжек.

Нет больше сомнения в красноармейских сердцах.

Рвет, заливаается посвистами ветер, рвется снежными пушинками часовому в рукава. Ежится часовой, поднимает край кошмы, набрасывает на спину. Сразу перестает колоть ледяными ножами, оттеплевает застывшее тело.

Снег, муть, зернь-пески.

Смутная азийская страна.

— Верблюды где?.. Верблюды, матери твоей черт!.. Анафема... сволочь рябая! Спать?.. Спать?.. Что ж ты наделал, подлец? Кишки выпущу!

У часового голова идет кругом от страшного удара сапогом в бок. Мутно водит глазами часовой.

Снег и муть.

Сутемь дымная, утренняя. Зернь-пески.

Нет верблюдов.

Где паслись верблюды, следы верблюжьих и человеческих. Следы остроносых киргизских ичигов.

Шли, наверно, тайком всю ночь киргизы, трое, за отрядом и в сон часового угнали верблюдов.

Столпясь, молчат красноармейцы. Нет верблюдов. Куда гнаться? Не догонишь, не найдешь в песках...

— Расстрелять тебя, сукина сына, мало! — сказал Евсюков часовому.

Молчит часовой, только слезы в ресницах замерзли хрусталиками.

Вывернулся из-под кошмы поручик. Поглядел, свистнул. Сказал с усмешечкой:

— Дисциплиночка советская! Олухи царя небесного!

— Молчи хоть ты, гнида! — яростно зыкнул Евсюков и не своим, одеревенелым шепотом бросил: — Ну, что ж стоять? Пошли, братцы!

Только одиннадцать гуськом, в отрепьях, шатаясь, вперевалку карабкаются по барханам.

Десятеро ложились вехами на черной дороге.

Утром мутнеющие в бессилье глаза раскрывались в последний раз, стыли недвижными бревнами распушие ноги, вместо голоса рвался душный хрип.

Подходил к лежащему малиновый Евсюков, но уже не одного цвета с курткой было комиссарское лицо. Высохло, посерело, и веснушки по нему, как старые медные грошики.

Смотрел, качал головой. Потом ледяное дуло евсюковского нагана обжигало впавший висок, оставив круглую, почти бескровную, почерневшую ранку.

Наскоро присыпали песком и шли дальше.

Изорвались куртки и штаны, разбились в лохмотья боты, обматывали ноги обрывками кошм, заматывали тряпками отмороженные пальцы.

Десять идут, спотыкаясь, качаясь от ветра.

Один идет прямо, спокойно.

Гвардии поручик Говоруха-Отрок.

Не раз говорили красноармейцы Евсюкову:

— Товарищ комиссар! Что ж долго его таскать? Только порцию жрет задарма. Опять же одежда, обуша у него хороша, поделить можно.

Но запрещал Евсюков трогать поручика.

— В штаб доставлю или с ним вместе подохну. Он много порассказать может. Нельзя такого человека зря бить. От своей судьбы не уйдет.

Руки у поручика связаны в локтях чумбуром, а конец чумбура у Марютки за поясом. Еле идет Марютка. На снеговом лице только играет кошачья желть ставших громадными глаз.

А поручику хоть бы что. Побледнел только немного.

Подошел однажды к нему Евсюков, посмотрел в ультрамариновые шарик, выдал хриплым лаем:

— Черт тебя знает! Двужильный ты, что ли? Сам шуплый, а тянешь за двух. С чего это в тебе сила такая?

Повел губы поручик всегдашней усмешкой. Спокойно ответил:

— Не поймешь. Разница культур. У тебя тело подавляет дух, а у меня дух владеет телом. Могу приказывать себе не страдать.

— Вона что,— протянул комиссар.

Дыбились по бокам барханы, мягкие, сыпучие, волнистые. На верхушках их с шипеньем змеился от ветра песок, и казалось, никогда не будет конца им.

Падали в песок, скрежеща зубами. Выли удушенно:

— Не пойду даля. Оставьте отдохнуть. Мочи нет.

Подходил Евсюков, подымал руганью, ударами.

— Иди! От революции дезертировать не могишь.

Подымались. Шли дальше. На вершину бархана выполз один. Обернувшись, показал дико ощеренный череп и проводил:

— Арал!.. братцы!..

И упал ничком. Евсюков через силу взбежал на бархан. Ослепляющей синевой мазнуло по воспаленным глазам. Зажмурился, заскреб песок скрюченными пальцами.

Не знал комиссар о Колумбе и о том, что так точно скребл пальцами палубу каравелл испанские мореходы при крике: «Земля!»

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой завязывается первый разговор Марютки с поручиком, а комиссар снаряжает морскую экспедицию

На берегу на второй день наткнулись на киргизский аул.

Вначале дунуло из-за барханов острым душком кизячного дыма, и от запаха сжало желудки едкой спазмой.

Закруглились вдали рыжие купола юрт, и с ревом помчались навстречу мохнатые низкорослые собачонки. Киргизы столпились у юрт, удивленно и жалостно смотрели на подходящих, на шаткие человечьи остатки.

Старик с продавленным носом погладил сперва редкие пучки бороденки, потом грудь. Сказал, кивнув:

— Селям алекюм. Куда такой идош, тюря?

Евсюков слабо пожал поданную дощечкой шершавую ладонь.

— Красные мы. На Казалинск идем. Примай, хозяин, покорми. За нас тебе благодарность от Совета выйдет.

Киргиз потряс бороденкой, зачмокал губами:

— Уй-бай... Кирасни аскер. Большак. Сентир пришел?

— Не, тюря! Не из центра мы. От Гурьева бредем.

— Гурьяв? Уй-бай, уй-бай. Каракум ишел?

В киргизских щелочках заискрился страх и уважение к полинялому малиновому человеку, который в Февральскую стужу прошел пешком страшные Каракумы от Гурьева до Арала.

Старик похлопал в ладоши, гортанно проверковал подбежавшим женщинам.

Взял комиссара за руку:

— Иди, тюря, кибитка. Испи мала-мала. Сыпишь, палав ашай.

Свалились полумертвыми тюками в дымное тепло юрт, спали без движения до сумерек. Киргизы наготовили плова, угощали, дружелюбно поглаживали красноармейцев по вылезшим на спинах острым лопаткам.

— Ашай, тюря, ашай! Твоя немного высохла. Ашай — здорова будишь!

Ели жадно, быстро, давясь. Животы вздувались от жирного плова, и многим становилось дурно. Отбегали в степь, дрожащими пальцами лезли в горло, облегчались и снова наваливались на еду. Разморенные и распаренные, уснули опять.

Не спали лишь Марютка и поручик.

Сидела Марютка у тлеющих углей мангала, и не было в ней памяти о пройденной муке.

Вытащила из сумки заветный охвостень карандаша, вытягивала буквы на выпрошенном у киргизки листе иллюстрированного приложения к «Новому времени». Во весь лист был напечатан портрет министра финан-

сов графа Коковцева, и поперек коковцевского высокого лба и светлой бородки ложились в падучей Марюткины строки.

А вокруг пояса Марюткина по-прежнему окручен чумбур, и другим концом крепко держал чумбур скрещенные за спиной кисти поручика.

Только на час развязала Марютка чумбур, чтобы дать поручику наесться плова, но только отвалился от котла, связала опять.

Красноармейцы хихикали:

— Тю, ровно пса цепная.

— Втрескалась, Марютка? Вяжи, вяжи миленького. А то, не ровен час,— припрет на ковре-самолете по воздуху Марья Маревна, украдет любезного.

Марютка не удостоила ответом.

Поручик сидел, прислонясь плечом к столбу юрты. Следил ультрамариновыми шариками за трудными потугами карандаша.

Подался вперед всем корпусом и тихо спросил:

— Что пишешь?

Марютка покосилась на него из-под сбившейся рыжей пряди:

— Тебе какая суета?

— Может, письмо нужно написать? Ты продиктуй — я напишу.

Марютка тихонько засмеялась.

— Ишь ты, проворяга! Это тебе, значит, руки развяжи, а ты меня по рылу да в бега! Не на ту напал, сокол. А помочи твоей мне не требуется. Не письмо пишу, а стих.

Ресницы поручика распахнулись всерами. Он отделился спиной от столба:

— Сти-и-их? Ты сти-ихи пишешь?

Марютка прервала карандашные судороги и залилась краской.

— Ты что взбутился? А? Ты думаешь, тебе только падекатры плясать, а я дура мужицкая? Не дурее тебя!

Поручик развел локтями, кисти не двигались.

— Я тебя дурой и не считаю. Только удивляюсь. Разве сейчас время для стихов?

Марютка совсем отложила карандаш. Взбросилась, рассыпав по плечу ржавую бронзу.

— Чудак — поглядеть на тебя! По-твоему, стихи в пуховике писать надо? А ежели душа у меня кипит? Если вот мечтаю означить, как мы, голодные, холодные,

по пескам перли! Все выложить, чтоб у людей в грудях сперло. Я всю кровь в их вкладаю. Только народовать не хотят. Говорят — учиться надобно. А где ж ты время возьмешь на ученье? От сердца пишу, с простоты!

Поручик медленно улыбнулся:

— А ты прочла бы! Очень любопытно. Я в стихах понимаю.

— Не поймешь ты. Кровь в тебе барская, склизкая. Тебе про цветочки да про бабу описать надо, а у меня все про бедный люд, про революцию, — печально проронила Марютка.

— Отчего же не понять? — ответил поручик. — Может быть, они для меня чужды содержанием, но понять человеку человека всегда можно.

Марютка нерешительно перевернула Коковцева вверх ногами. Потупилась.

— Ну, черт с тобой, прослушы! Только не смейся. Тебя, может, папенька до двадцати годов с гибернерами обучал, а я сама до всего дошла.

— Нет!.. Честное слово, не буду смеяться!

— Тогда слушы! Тут все прописано. Как мы с казаками бились, как в степу ушли.

Марютка кашлянула. Понизила голос до баса, рубила слова, свирепо вращая глазами:

Как казаки наступали,  
Царской свиты палачи,  
Мы встрелили их пулями,  
Красноармейцы молодцы,  
Очень много тех казаков,  
Нам пришлось отступать.  
Евсюков геройским махом  
Приказал сволочь ярорвать.  
Мы их били с пулемета,  
Пропадать нам все одно,  
Полегла вся наша рота,  
Двадцатеро в степь ушло.

— А дальше никак не лезет, хоть ты тресни, рыба холера, не знаю, как верблюдов вставить? — оборвала Марютка пресекающим голосом.

В тени были синие шарики поручика, только в белках влажно доцветал лиловатыми отсветами веселый жар мангала, когда, помолчав, он ответил:

— Да... здорово! Много экспрессии, чувства. Понимаешь? Видно, что от души написано. — Тут все тело поручика сильно дернулось, и он, как будто икнув,



спешно добавил: — Только не обижайся, но стихи очень плохие. Необработанные, неумелые.

Марютка грустно уронила листок на колени. Молча смотрела в потолок юрты. Пожала плечами:

— Я ж и говорю, что чувствительные. Плачет у меня все нутро, когда обсказываю про это. А что необделанные — это везде сказывают, точь-в-точь как ты. «Ваши стихи необработанные, печатать нельзя». А как их обделать? Что в их за хитрость? Вот вы энтиллегент, может, знаете? — Марютка в волнении даже назвала поручника на вы.

Поручик молчал.

— Трудно ответить. Стихи, видишь ли, — искусство. А всякое искусство ученья требует, у него свои правила и законы. Вот, например, если инженер не будет знать всех правил постройки моста, то он или совсем его не выстроит, или выстроит, но безобразный и негодный в работе.

— Так то ж мост. Для его арихметику надо произойти, разные там инженерные хитрости. А стихи у меня с люльки в середке закладены. Скажем, талант?

— Ну что ж? Талант и развивается ученьем. Инженер потому и инженер, а не доктор, что у него с рождения склонность к строительству. А если он не будет учиться, ни черта из него не выйдет.

— Да?.. Вон ты какая оказия, рыба холера! Ну вот, восвать кончим, обязательно в школу пойду, чтоб стихам выучили. Есть поди такие школы?

— Должно быть, есть, — ответил задумчиво поручик.

— Обязательно пойду. Заели они мою жизнь, стихи эти самые. Так и горит душа, чтоб натискали в книжке и подпись везде проставили: «Стих Марии Басовой».

Мангал погас. В темноте ворчал ветер, копаясь в войлоке юрты.

— Слышь ты, кадет, — сказала вдруг Марютка, — болят, чай, руки-то?

— Не очень! Онемели только!

— Вот что. Ты мне поклянись, что убечь не хочешь. Я тебя развяжу.

— А куда мне бежать? В пески? Чтоб шакалы задрали? Я себе не враг.

— Нет, ты поклянись. Говори за мной. Клянусь бедным пролетарнятом, который за свои права, перед красноармейкой Марией Басовой, что убечь не хочу.

Поручик повторил клятву.

Тугая петля чумбура расплелась, освободив затекшие кисти.

Поручик с наслаждением пошевелил пальцами.

— Ну, спи,— зевнула Марютка,— теперь, если убежишь,— последний подлец будешь. Вот тебе кошма, накройся.

— Спасибо, я полушубком. Спокойной ночи, Мария...

— Филатовна,— с достоинством дополнила Марютка и нырнула под кошму.

Евсюков спешил дать знать о себе в штаб фронта.

В ауле нужно было отдохнуть, отогреться и отъесться. Через неделю он решил двинуться по берегу, в обход, на Аральский поселок, оттуда на Казалинск.

На второй неделе из разговора с пришлыми киргизами комиссар узнал, что верстах в четырех осенней бурей на берег залива выбросило рыбачий бот. Киргизы говорили, что бот в полной исправности. Так и лежит на берегу, а рыбаки, должно быть, потонули.

Комиссар отправился посмотреть.

Бот оказался почти новый, желтого крепкого дуба. Буря не повредила его. Только разорвала парус и вырвала руль.

Посоветовавшись с красноармейцами, Евсюков положил отправить часть людей сейчас же, морем, в устье Сыр-Дарьи. Бот свободно поднимал четырех с небольшим грузом.

— Так-то лучше,— сказал комиссар.— Во-первых, значит, пленного скорей доставим. А то, черт весть, опять что по пути случится. А его обязательно до штаба допереть нужно. А потом в штабе о нас узнают, навстречу конную помощь вышлют с обмундированием и еще чем.

При попутном ветре бот в три-четыре дня пересечет Арал, а на пятые сутки и Казалинск.

Евсюков написал донесение; зашил его в холщовый пакетик с документами поручика, которые все время берег во внутреннем кармане куртки.

Киргизки залатали парус кусками маты, комиссар сам сколотил новый руль из обломков досок и снятой с бота банки.

В февральское морозное утро, когда низкое солнце полированным медным тазом поползло по пустой бирюзе, верблюжьим волоком дотянули бот до границы льда.

Спустили на вольную воду, усадили отправляемых. Евсюков сказал Марютке:

— Будешь за старшего! На тебе весь ответ. За кадетом гляди. Если как упустишь, лучше на свете тебе не жить. В штаб доставь живого аль мертвого. А если на белых нарветесь иснароком, живым его не сдавай. Ну, трогай!

## ГЛАВА ПЯТАЯ,

целиком украденная у Даниэля Дефо,  
за исключением того, что Робинзону не приходится  
долго ожидать Пятницу

Арал — море невеселое.

Плоские берега, по ним полынь, пески, горы пере-  
катные.

Острова на Арале — блины, на сквородку вылитые, плоские до глянца, распластались по воде — еле берег видать, и нет на них жизни никакой.

Ни птицы, ни злака, а дух человеческий только летом и чутся.

Главный остров на Арале Барса-Кельмес.

Что оно значит — неизвестно, но говорят киргизы, что «человечья гибель».

Летом с Аральского поселка едут к острову рыбалки. Богатый лов у Барса-Кельмеса, кипит вода от рыбьего хода.

Но как взревут пенными зайчиками осенние моряны, спасаются рыбалки в тихий залив Аральского поселка и до весны носу не кажут.

Если до морян всего улова с острова не свезут, так и остается рыба зимовать в деревянных сквозных сараях просоленными штабелями.

В суровые зимы, когда мерзнет море от залива Чернышева до самого Барса, раздолье чекалкам. Бегут по льду на остров, нажираются соленого усача или сазана до того, что, не сходя с места, дохнут.

И тогда, вернувшись весной, когда взломает ледяную корку Сыр-Дарья желтой глиной половодья, не находят рыбалки ничего из брошенного осенью засола.

Ревут, катаются по морю моряны с ноября по февраль. А в остальное время изредка только налетают штормики, а летом стоит Арал недвижимым — драгоценное зеркало.

Скучное море Арал.

Одна радость у Арала — синь-цвет необычайный.

Синева глубокая, бархатная, сапфирами переливается.

Во всех географиях это отмечено.

Рассчитывал комиссар, отправляя Марютку и поручика, что в ближайшую неделю надо ждать тихой погоды. И киргизы по стародавним приметам своим то же говорили.

Потому и пошел бот с Марюткой, поручиком и двумя ребятами, привычными к водяному шаткому промыслу, Семянным и Вяхирем, на Казалинск морским путем.

Радостно вспучивал залатанный парус шелестящий волной ровный бриз. Сонливо скрипел в петлях руль, и закипала у борта густая масляная пена.

Развязала Марютка совсем поручиковы руки — некуда бежать человеку с лодки, — и сидел Говоруха-Отрок попеременно с Семянным и Вяхирем на шкотах.

Сам себя в плен вез.

А когда отдавал шкоты красноармейцам, лежал на дне, прикрывшись кошмой, улыбался чему-то, мыслям своим тайным, поручичьим, никому, кроме него, не ведомым.

Этим беспокоил Марютку.

«И чего ему хихиньки все время? Хоть на сласть бы ехал, в свой дом. А то один конец, — допросят в штабе и в переделку. Дурья голова, шалый!»

Но поручик продолжал улыбаться, не зная Марюткиной думы.

Не вытерпела Марютка, заговорила:

— Ты где к воде приобык-то?

Ответил Говоруха-Отрок, подумав:

— В Петербурге... Яхта у меня своя была... Большая. По взморью ходил.

— Какая яхта?

— Судно такое... парусное.

— От-то ж! Да я яхту, чай, не хуже тебя знаю. У буржуев в клубе в Астрахани насмотрелась. Там их гибель была. Все белые, высокие да ладные, словно лебеди. Я не про то спрашиваю. Прозывалась как?

— «Нелли».

— Это что ж за имя такое?

— Сестру мою так звали. В честь ее и яхта.

— Такого и имени христианского нету.

— Елена... А Нелли по-английски.

Марютка замолчала, посмотрела на белое солнце, изливавшееся холодным блистающим медом. Оно сползало вниз, к бархатной синей воде.

Заговорила опять:

— Вода! Чистая синь в ей. В Каспицком зеленыя, а тут, поди ж ты, до чего синей!

Поручик ответил как будто в себя и для себя:

— По шкале Фореля приближается к третьему номеру.

— Чего? — беспокойно повернулась Марютка.

— Это я про себя. О воде. В гидрографии читал, что в этом море очень яркий синий цвет воды. Ученый Форель составил таблицу оттенков морской воды. Самая синяя в Тихом океане. А здешняя приближается по этой таблице к третьему номеру.

Марютка полузакрывает глаза, как будто хотела представить себе таблицу Фореля, раскрашенную разными тонами синевы.

— Здорово синя, приравнять даже трудно. Синя, как... — Она открыла глаза и внезапно остановила желтые кошачьи зрачки свои на ультрамариновых шариках поручика. Дернулась вперед, вздрогнула всем телом, будто открыв необычайное, раскрыла изумленно губы. Прошептала: — Мать ты моя!.. Зенки-то у тебя — точь-в-точь как синь-вода! А я гляжу, что в их такое знакомое, рыбья холера!

Поручик молчал.

Оранжевая кровь пролилась по горизонту. Вода вдали сверкала чернильными отблесками. Потянуло ледяным холодком.

— С востоку тянет, — заворошился Семянный, кутаясь в обрывки шинели.

— Моряна бы не вдарила, — отозвался Вяхирь.

— Ни черта. Часа два пропррем еще — Барсу видать будя. Чо ветер, — там заночевам.

Смолкли. Бот начало подергивать на потемневших свинцовых гребнях.

По сизо-черному мохнатому небу протянулись узкие облачные полосы.

— Так и есть. Моряна прет.

— Должно, скоро Барсу откроем. Слева на пеленге должна быть. Клятое место тая Барса. Со всех боков песок, хоть ты лопни! Одни ветра воют... Травы, стерва, шкоты травы! Это тебе не помочи генеральские!

Поручик не успел вовремя вытравить шкот. Бот резнул воду бортом, и потоком пены хлестнуло по лицам.

— Да я тут при чем? Марья Филатовна на руле зевнула.

— Это я-то зевнула? Опомнись, рыба холера! С пяти годов на рулю сидю!

Волны нагоняли сзади высокие, черные, похожие на драконьи хребты, хватали за борты шипящими челюстями.

— Эх-эх, маты!.. Скорей бы до Барсы добраться. Темно, не видать ничего.

Вяхирь вгляделся влево. Крикнул радостно, звонко:

— Есть. Вона она, сволочь!

Сквозь брызги и муть замаячила низкая белеющая полоса.

— Правь к берегу,— зыкнул Семянный,— дай бог дойти!

С треском поддало корму, протяжно застонали шпангоуты. Гребень обрушился на бот, налив по щиколотки воды.

— Черпай воду! — взвизгнула Марютка.

— Черпай?.. Черпака черт ма!

— Хвуражками!

Семянный и Вяхирь сорвали папахи, лихорадочно выбрасывали воду.

Поручик мгновение колебался. Снял свою меховую финку и бросился на помощь.

Белая низкая полоса наплывала на бот, становилась плоским, припущенным снежком берегом. Он был еще белее от кипевшей там пены.

Ветер бесился псиным воем, взбрасывал все выше колеблющиеся плескучие холмы.

Бешеным налетом бросился в парус, вздыбил его беременное брюхо, рванул.

Старая холстина лопнула с пушечным гулом.

Семянный и Вяхирь метнулись к мачте.

— Держи концы,— пронзительно взвыла с кормы Марютка, налегая грудью на румпель.

Вихрастая, шумная, ледяная, накатилась сзади волна, положила бот совсем на бок, перекатилась тяжелым стеклянным студнем.

Когда выпрямился, почти до бортов налитый водой, ни Семянного, ни Вяхиря у мачты не было. Хлестал мокрыми отрепьями разорванный парус.

Поручик сидел на дне по пояс в воде и крестился мелкими крестиками.

— Сатана!.. Чего смок? Черпай воду! — в первый раз за всю свою жизнь завернула Марютка поручика в многоэтажную ругань.

Вскочил встрепанным щенком, забрызгал водой.

Марютка кричала в ночь, в свист, в ветер:

— Семья-я-анна-аа-ай!.. Вя-яя-яхи-иииры!

Хлестала пена. Не слышно было человеческого голоса.

— Утопли, окаянные!

Ветер нес полузатопленный бот на берег. Кипела вокруг вода. Поддало сзади, и днище шурхнуло по песку.

— Стебай в воду! — кричала Марютка, выскакивая. Поручик вывалился за ней.

— Тащи бот!

Ухватившись за конец, ослепленные брызгами, сбиваемые волной, тащили бот к берегу. Он тяжело врезался в песок. Марютка схватила винтовки.

— Забирай мешки с жратвой! Тащи!

Поручик покорно повиновался. Добравшись до сухого места, Марютка сронила винтовки в песок. Поручик сложил мешки.

Марютка крикнула еще раз в тьму:

— Семянна-ай! Вяхи-иры!..

Безответно.

Она села на мешки и по-бабьи заплакала.

Поручик стоял сзади, часто и гулко лязгая челюстями.

Однако пожал плечами и сказал ветру:

— Черт!.. Совершенная сказка! Робинзон в сопрождении Пятницы!

## ГЛАВА ШЕСТАЯ,

**в которой завязывается второй разговор  
и выясняется вредное физиологическое действие  
морской воды при температуре +2° по Реомюру**

Поручик тронул Марюткино плечо.

Несколько раз пытался говорить, но мешала шелкавшая ознобом челюсть.

Подлер ее кулаком и выговорил:

— Плачем не поможешь. Идти надо! Не сидеть же здесь! Замерзнем!

Марютка подняла голову. Сказала безнадежно:

— Куда пойдешь. На острову мы. Вода вкруг.

— Идти надо. Я знаю, тут сарай есть.

— Откудова ты знаешь? Был тут, что ли?

— Нет, никогда не был. А когда в гимназии учился — читал, что здесь рыбаки сарай строят для рыбы. Нужно найти сарай.

— Ну, найдем, а дале что?

— Утро вечера мудренее. Вставай, Пятница!

Марютка с испугом посмотрела на поручика.

— Никак рехнулся?.. Господи, боже мой!.. Что ж я делать с тобой буду? Не пятница — среда сегодня.

— Ничего! Не обращай внимания. Об этом потом поговорим. Вставай!

Марютка послушно встала. Поручик нагнулся поднять винтовки, но девушка перехватила его руку.

— Стой! Не шали!.. Слово дал мне, что не убежишь!

Поручик рванул руку и хрипло, дико захохотал.

— Видно, не я с ума сошел, а ты! Ты сообрази, голова, могу я сейчас думать о побеге? А винтовки хочу понести потому, что тебе тяжело будет.

Марютка притихла, но сказала мягко и серьезно:

— За помощь спасибо. А только приказ мне, чтоб тебя доставить... Не могу, значит, тебе оружия давать, как я в ответе!

Поручик пожал плечами и подобрал мешки. Зашагал вперед.

Песок, смешанный со снегом, хрустел под ногами. Тянулся без конца низкий, омерзительный своей ровностью берег.

Вдалеке засерело что-то, присыпанное снегом.

Марютка шаталась под тяжестью трех винтовок.

— Ничего, Марья Филатовна! Потерпи! Должно быть, это и есть сарай.

— Скорей бы, силы моей нет. Вся простыла.

Уткнулись в сарай. Внутри была дикая темь, тошнотворно пахло рыбной сыростью и проржавелой солью.

Рукой поручик ощупал кучи сложенной рыбы.

— Ого! Рыба есть! По крайней мере голодать не будем.

— Огня бы!.. Оглядеться. Может, какой угол найдем от ветру? — простонала Марютка.

— Ну, электричества здесь не дождешься.



— Рыбу бы зажечь... Вона жирная.

Поручик опять захохотал.

— Рыбу зажечь?.. Ты, правда, помешалась.

— Зачем помешалась? — с обидой ответила Марютка. — У нас на Волге сколь ее жгли. Чище дров горит!

— Первый раз слышу... Да зажечь как?.. Трут у меня есть, а щепы на распалку...

— Эх ты, кавалер!.. Видать, всю жизнь у маменьки под юбкой сидел. На, выворачивай пули, а я со стенки лучину подеру.

Поручик с трудом вывернул из трех винтовочных патронов пули окостеневшими пальцами. Марютка в тьме наткнулась на него со щепками.

— Сыпь сюда порох!.. Кучкой... Давай трут!

Трут затлел оранжевой точкой, и Марютка сунула ее в порох. Зашипел, вспыхнул медленным желтым огоньком, зацепил сухие щепочки.

— Готово, — обрадовалась Марютка, — бери рыбу. Сазана пожирней таши.

На загоревшиеся лучинки сверху легла накрест рыба. Поежилась, вспыхнула жирным жарким пламенем.

— Теперь только подкладывай. Рыбы на полгода хватит!

Марютка огляделась. Пламя дрожало бегающими тенями на громадных кучах сваленной рыбы. Деревянные стены были в дырках и щелях.

Марютка прошла по сараю. Крикнула откуда-то из угла:

— Есть цел угол! Подкладывай рыбу, чтоб не загасла. Я тут с боков завалю. Чистую комнату устрою.

Поручик сел у костра. Ежился, отогреваясь. В углу шуршала и шлепалась перебрасываемая Марюткой рыба. Наконец она позвала:

— Готово! Таши огня-то!

Поручик поднял за хвост горящего сазана. Прошел в угол. Марютка с трех сторон навалила стенки из рыбы, внутри образовалось пространство в сажень.

— Залазь, разжигай. Я там в середке наложила рыбин. А я пока за припасом сметаюсь.

Поручик подложил сазана под клетку сложенной рыбы. Медленно, нехотя, она разгорелась. Марютка вернулась, поставила в угол винтовки, сложила мешки.

— Эх, рыба холера! Ребят жаль. Ни за что утопли.

— Хорошо бы платье просушить. А то простудимся.

— За чем дело стало? От рыбы огонь жаркий. Скидай, суши.

Поручик помялся.

— Вы просушивайте, Марья Филатовна. А я там подожду пока. А потом я посушусь.

Марютка с сожалением взглянула на его дрожащее лицо.

— Ах, дурень ты, я погляжу. Барское твоё понятие. Чего страшного? Никогда голой бабы не видел?

— Да, я не потому... а вам, может, неловко?

— Ерунда! Из одного мяса сделаны. Невесть какая разница! — Почти прикрикнула: — Раздевайся, идол! Ишь зубами стучишь, что пулемет. Мука мне с тобой чистая!

На составленных винтовках висело и дымилось над огнем платье.

Поручик и Марютка сидели друг против друга перед огнем, упоенно поворачиваясь к жару пламени.

Марютка внимательно, не отрываясь, глядела на белую, нежную, похудевшую спину поручика. Хмыкнула.

— До чего ж ты белый, рыба холера! Не иначе, как в сливках тебя мыли!

Поручик густо покраснел и повернул голову. Хотел что-то сказать, но, встретив желтый отблеск, круглившийся на Марюткиной груди, опустил вниз ультрамариновые шарик.

Платье просохло. Марютка набросила на плечо козушок.

— Поспать нужно. К завтраму, может, стихнет. Счастье — бот-то не потоп. По-тихому, может, когда-нибудь до Сыр-Дарьи допремся. А там рыбалок встренем. Ты ложись-ка, я за огнем погляжу. А как сон сморит, тебя сбужу. Так и подежурим.

Поручик подложил под себя платье, укрылся полужубком. Тяжело заснул и стонал во сне. Марютка неподвижно смотрела на него.

Пожала плечом.

«Навязался на мою голову! Болезный! Как бы не застудился! Дома небось в бархат-атлас кутали. Эх ты, жизнь, рыба холера!»

Утром, когда сквозь щели в крыше засерело, Марютка разбудила поручика.

— Слышь, ты последи за огнем, а я на берег схожу. Посмотрю, может, наши-то выплыли, сидят где.

Поручик трудно поднялся. Охватил виски пальцами, глухо сказал:

— Голова болит.

— Ничего... Это с дыму да с устали. Пройдет. Лепешки возьми в мешке, усаха поджарь да пошамай.

Взяла винтовку, обтерла полой кожушка и вышла.

Поручик на коленях подполз к огню, вынул из мешка размокшую черствую лепешку. Прикусил, немного пожевал, выронил кусок и мешком свалился на землю у огня.

Марютка трясла поручиково плечо. Кричала с отчаянием:

— Вставай!.. Вставай, окаянный!.. Беда!

Поручиковы глаза широко раскрылись, распахнулись губы.

— Вставай, говорю! Напасть такая! Бот волнами унесло! Пропадать нам теперь.

Поручик смотрел в лицо ей, молчал.

Вгляделась Марютка, тихо ахнула.

Были мутны и безумны поручиковы ультрамариновые шарики. От щеки, прислонившейся бессильно к Марюткиной руке, несло жаром костра.

— Застудился-таки, черт соломенный! Что ж я с тобой делать буду?

Поручик пошевелил губами.

Марютка нагнулась, расслышала:

— Михаил Иванович... Не ставьте единицу... Я не мог выучить... На завтра приготовлю...

— Чего мелешь-то? — дрогнув, спросила Марютка.

— Трезор... пиль... куропатка... — вдруг крикнул, подскочив, поручик.

Марютка отшатнулась и закрыла лицо руками.

Поручик опять упал, заскреб пальцами по песку.

Быстро, быстро забормотал неразборчивое, давясь звуками.

Марютка безнадежно оглянулась.

Сняла кожушок, бросила на песок и с трудом перетасила на него бесчувственное поручиково тело. Накрыла сверху полушубком.

Съежилась беспомощным комком рядом. По осунувшимся щекам закапали у нее медленные мутные слезы.

Поручик метался, сбрасывая полушубок, но Марютка

упорно поправляла каждый раз, закутывая его до подбородка.

Увидела, что завалилась голова, подложила мешки. Сказала вверх, как будто небу, с надрывом:

— Помрет ведь... Что ж я Евсюкову скажу? Ах ты горе!

Наклонилась над пылающим в жару, заглянула в помутневшие синие глаза.

Укололо острой болью в груди. Протянула руку и тихонько погладила разметанные вьющиеся волосы по ручику. Охватила голову ладонями, нежно прошептала:

— Дурень ты мой, синеглазенький!

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

вначале чрезвычайно запутанная,  
но под конец проясняющаяся

Трубы серебряные, а на трубах висят колокольчики. Трубы поют, колокольчики звенят нежным таким ледяным звоном:

Тили-динь, динь, динь.

Тили-тили, длям-длям-длям.

А трубы поют свое особенное:

Ту-ту-ту-ту, ту-ту-у-ту.

Несомненно, марш. Марш. Конечно, тот самый, что всегда на парадах.

И площадь, солнцем забрызганная сквозь зеленые шелка кленов, та же.

Капельмейстер оркестром управляет.

Стал к оркестру спиной, из разреза шинели хвост выдвинул, большой рыжий лисий хвост, а на кончике хвоста золотая шишечка наверхчена, в шишечку камертон вставлен.

Хвост во все стороны машет, камертон тон задает, указывает корнетам и тромбонам, когда вступать, а заезвается музыкант — тотчас камертон по лбу.

Музыканты вовсю стараются. Занятные музыканты.

Солдаты как солдаты, лейб-гвардии разных полков. Сводный оркестр.

Но ртов у музыкантов вовсе нет... Гладкое место под носом. А трубы у всех в левую ноздрю вставлены.

Правой ноздрей воздух забирают, левой в трубу вдывают, и от этого тон у труб особенный, звонкий и развеселый.

— К це-е-е-риальному аршу и-отовсь!

— К це-риальному... На пле-е-чо!

— По-олк!

— Ба-тальон!

— Рота-ааа!

— Справа повзводно... Первый батальон шагом... арш!..

Трубы: «ту-ту-ту». Колокольчики: «динь-динь-динь».

Капитан Швецов лакирашами выплясывает. Зад у капитана тугой, гладкий, что окорок. Дрыг-дрыг.

— Молодцы, ребята!

— Драм-ам, ав-гав-гав!..

— Поручик!

— Поручик! Поручика к генералу!

— Какого поручика?

— Третьей роты. Говоруху-Отрока к генералу!

Генерал на лошади сидит, среди площади. Лицом красен, ус седой.

— Господин поручик, что за безобразие?

— Хи-хи-хи!.. Ха-ха-ха!

— С ума сошли?.. Смеяться?.. Да я вас, да вы с кем?

— Хо-хо-хо!.. Да вы не генерал, а кот, ваше превосходительство!

Сидит генерал на лошади. До пояса — генерал как генерал, а с пояса ноги кошачьи. Хотя бы породистого кота — так нет. Самый дворняга, серые такие, линиялые коты, в полоску, по всем дворам на крышах шляются.

И когтями ноги в стремяна уперлись.

— Я вас под суд, поручик! Неслыханный случай! В гвардии, и вдруг у офицера пуп навыворот!

Осмотрелся поручик и обомлел. Из-под шарфа пуп вылез, тонкой кишкой такой зеленого цвета, и кончик, пуповина самая, в центробежном движении поразительной быстроты мелькает. Схватил пуп, а он вырывается.

— Арестовать его! Нарушение присяги!

Вынул генерал из стремени лапу, когти распустил, тянется ухватить, а на лапе шпора серебряная, и вместо колечка вставлен в шпору глаз.

Обыкновенный глаз. Кругленький, желтый зрачок, остренький такой и в самое сердце поручику заглядывает.

Подмигнул ласково и говорит, как — неизвестно, глаз сам говорит:

— Не бойся!.. Не бойся!.. Наконец-то отошел!

Ручка приподняла поручикову голову, и, открыв гла-

за, увидел он худенькое лицо с рыжими прядями и глаз ласковый, желтый, тот самый.

— Напугал ты меня, жалостный. Неделю с тобой промучилась. Думала, не выхожу. Одни-одинешеньки на острове. Лекарствия никакого, помочь некому. Только кипятком и отходила. Рвало тебя спервоначалу все время... Вода-то паршивая, соленая, кишка ее не принимает.

С трудом входили в поручиково сознание ласковые, тревожные слова.

Он слегка приподнялся, осмотрелся непонимающими глазами.

Кругом рыбные штабеля. Костер горит, на шомполе котелок висит, бурлит водой.

— Что такое?.. Где?..

— Ай забыл? Не узнал? Марюта я!

Тонкой прозрачной рукой поручик потер лоб.

Вспомнил, бессильно улыбнулся, прошептал:

— Да... припомнил. Робинзон и Пятница!

— Ой, опять забредил? Далась тебе пятница. Не знаю, который и день. Совсем со счету сбился.

Поручик опять улыбнулся:

— Да не деньги.. Имя такое... Есть рассказ, как человек после крушения на остров попал необитаемый. И друг у него был. Пятницей звали. Не читала никогда? — Он опустил на козушок и закашлялся.

— Не... Сказок много читала, а этой не знаю. Ты лежи, лежи тихонько, не шебаршись. Еще опять захвораешь. А я усаха сварю. Поешь, подкрепишься. Почитай, всю неделю, кроме воды, ничего в рот не взял. Вишь, прозрачный стал, как свечка. Лежи!

Поручик лениво закрыл глаза. В голове у него звенело медленным хрустальным звоном. Вспомнил трубы с хрустальными колокольчиками, засмеялся тихонько.

— Ты што? — спросила Марютка.

— Так, вспомнил... Смешной сон видел, когда бредил.

— Кричал ты во сне чего! И командовал, и ругался... Чего только не было. Ветер свистит, кругом пустота, одна я с тобой на острове, а ты еще не в себе. Прямо страх брал, — она зябко поежилась, — и не знаю, что делать.

— Как же ты справлялась?

— Да вот, справилась. А пуще всего боялась — помрешь ты с голоду. Кроме ж воды, ничего. Лепешки-то, что остались, все тебе в кипятке скормила. А теперь

одна рыба кругом. А какая же больному человеку жратва в соленой рыбе? Ну, как завидела, что ты заворачался и глаза открываешь, отлегло.

Поручик вытянул руку. Положил тонкие, красивые, несмотря на грязь, пальцы на сгиб Марюткиной руки. Тихо погладил и сказал:

— Спасибо тебе, голубушка!

Марютка покраснела и отвела его руку.

— Не благодари!.. Не стоит спасибо. Что ж, по-твоему, дать человеку помирать? Зверюка я лесная или человек?

— Но ведь я кадет... Враг. Чего было со мной возиться? Сама еле дышишь.

Марютка остановилась на мгновение, недоуменно дернула плечом. Махнула рукой и засмеялась:

— Где уж враг? Руки поднять не можешь, какой тут враг? Судьба моя с тобой такая. Не пристрелила сразу, промахнулась впервой отроду, ну и возиться мне с тобой до скончания. На, покушай!

Она подсунула поручику котелок, в котором плавал жирный янтарный кусок балыка. Запахло вкусно и нежно прозрачное душистое мясо.

Поручик вытаскивал из котелка кусочки. Ел с аппетитом.

— Ужасно только соленая. Прямо в горле дерет.

— Ничего ты с ей не поделаешь. Была б вода пресная — можно вымочить, а то чистое несчастье. Рыба солена — вода солена! Попали в переплет, рыба холера!

Поручик отодвинул котелок.

— Что? Больше не хочешь?

— Нет. Я наелся. Поешь сама.

— Ну ее к черту! Обрыдла она мне за неделю. Колом в глотке стоит.

Поручик лежал, опершись на локоть.

— Эх... Покурить бы! — сказал он с тоской.

— Покурить? Так бы и говорил. В мешке-то у Семянного махра осталась. Подмокла малость, так я ее высушила. Знала, курить захочешь. У курящего, опосля болезни, еще пуще на табак тяга. Вот, бери.

Поручик взволнованно взял кисет. Пальцы у него дрожали.

— Ты прямо золото, Маша! Лучше няньки!

— Небось без няньки жить не можешь? — сухо ответила Марютка и покраснела.

— Бумаги вот только нет. Твой этот малиновый до последней бумажки у меня все обобрал, а трубку я потерял.

— Бумаги... — Марютка задумалась.

Потом решительным движением отвернула полу кожушка, которым накрыт был сверху поручик, сунула руку в карман, вытащила маленький сверточек.

Развязала шнурок и протянула поручику несколько листов бумаги:

— Вот тебе на завертку.

Поручик взял листки, всмотрелся. Поднял на Марютку глаза. Они засияли недоумевающим синим светом.

— Да это же стихи твои! С ума ты сошла? Я не возьму!

— Бери, черт! Не рви ты мне душу, рыба хольера! — крикнула Марютка.

Поручик посмотрел на нее:

— Спасибо! Я этого никогда не забуду!

Оторвал маленький кусочек с угла, завернул махорку, закурил. Смотрел куда-то вдаль, сквозь синюю ленточку дыма, ползшую от козьей ножки.

Марютка пристально вглядывалась в него. Неожиданно спросила:

— Вот гляжу я на тебя, понять не могу. С чего зенки у тебя такие синие? Во всю жизнь нигде таких глаз не видала. Прямо синь такая, аж утонуть в них можно.

— Не знаю, — ответил поручик, — с такими родился. Многие говорили, что необыкновенный цвет.

— Правда!.. Еще как тебя в плен забрали, я и подумала: что у него за глаза такие? Опасные у тебя глаза!

— Для кого?

— Для баб опасные. В душу без мыла лезут! Растревоживают!

— А тебя растревожили?

Марютка вспыхнула.

— Ишь черт! А ты не спрашивай! Лежи, я за водой сбегаю.

Поднялась, равнодушно взяла котелок, но, выходя из-за рыбных штабелей, весело повернулась и сказала, как раньше:

— Дурень мой, синеглазенький!



## ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

в которой ничего не нужно объяснять

Мартовское солнце — на весну поворот.

Мартовское солнце над Аралом, над синью бархатной нежит и покусывает горячими зубами, расчесывает кровь человеку.

Третий день как стал выходить поручик.

Сидел у сарайчика, грелся на солнышке, кругом посматривал глазами радостными, воскресшими, синими, как синь-море. Марютка весь остров облазила тем временем.

Возвратилась в последний день к закату радостная.

— Слышь? Завтра переберемся!

— Куда?

— Там, подале. Верст восемь отсюда будет.

— Что там такое?

— Рыбачью хибару нашла. Чистый дворец! Сухая, крепкая, даже в окнах стекла не биты. С печкой, посуды кой-какой, битой, черепки,— все сгодятся на хозяйство. А главное — полати есть. Не на земле валяться. Нам бы сразу туда дойти.

— Кто же знал?

— Вот то-то и есть! А кроме всего, находку я сделала. Хороша находка!

— А что?

— Закуточка такая у них там, за печкой. Провизию прятали. Ну, и осталось там малость. Рис да муки с полпуда. Гниловата, а есть можно. Должно, осенью, как буря захватила, торопились убираться, забыли впопыхах. Теперь живем не тужим!

Утром перебирались на новое место. Впереди шла Марютка, нагруженная верблюдом. Все на себе тащила, ничего не позволила взять поручику.

— Ну тебя! Еще опять занеможешь. Себе дороже. Ты не бойся! Донесу! Я с виду тонкая, а здоровая.

К полудню добрались до хибарки, вычистили снег, привязали веревкой сорвавшуюся с петель дощатую дверь. Набили полную печь сазана, разожгли, со счастливыми улыбками грелись у огня.

— Лафа... Царское житье!

— Молодец, Маша. Всю жизнь тебе буду благодарен... Без тебя не выжил бы.

— Известно дело, белоручка!

Помолчала, растирая руки над огнем.

— Тепло-тепло... А что ж мы дальше делать будем?

— Да что же делать? Ждать!

— Чего ждать?

— Весны. Уже недолго. Сейчас середина марта. Еще недели две — рыбаки, верно, приедут рыбу вывозить, ну, выручат нас.

— Хорошо бы. Так на рыбе да на гнилой муке мы с тобой долго не вытянем. Недельки две продержимся, а дальше каюк, рыба холера!

— Что у тебя присказка такая — рыба холера? Откуда?

— Астраханская наша. Рыбаки так болтают. Это вместо чтоб ругаться. Не люблю я ругаться, а злость мутит иной раз. Вот и отвожу душу.

Она поворошила шомполом рыбу в печке и спросила:

— Ты вот мне говорил про сказку ту, насчет острова... С Пятницей. Чем зря сидеть — расскажи. Страсть я жадная до сказок. Бывало, у тети соберутся бабы, старуху Гугниху приволокут. Ей лет сто, а может, и больше было. Наполевона помнила. Как зачнет сказки говорить, я в углу так и пристыну. Дрожмя дрожу, слово боюсь проронить.

— Это про Робинзона рассказать? Забыл я наполовину. Давно уже читал.

— А ты припомни. Все, что вспомнишь, и расскажи!

— Ладно. Постараюсь.

Поручик полузакрыв глаза, вспоминая.

Марютка разложила кожушок на нарах, забралась в угол у печки.

— Иди садись сюда! Теплее тут, в уголку.

Поручик залез в угол. Печка накалилась, обдала веселым жаром.

— Ну, что ж ты? Начинай. Не терпится мне. Люблю я эти сказки.

Поручик оперся на локти. Начал:

— В городе Ливерпуле жил богатый человек. Звали его Робинзон Крузо...

— А где этот город-то?

— В Англии... Жил богатый человек Робинзон Крузо...

— Погоди!.. Богатый, говоришь? И почему это во всех сказках про богатых да про царей говорится? А про бедного человека и сказки не сложено.

— Не знаю,— недоуменно ответил поручик,— мне это и в голову никогда не приходило.

— Должно быть, богатые сами сказки писали. Это все одно, как я. Хочу стих написать, а учености у меня для его нет. А я бы об бедном человеке написала здорово. Ничего. Поучусь вот, тогда еще напишу.

— Да... Так вот задумал этот Робинзон Крузо попутешествовать и объехать кругом всего земного шара. Поглядеть, как люди живут. И выехал из города на большом парусном корабле...

Печка потрескивала, проливался мерными каплями голос поручика.

Постепенно вспоминая, он старался рассказывать со всеми подробностями.

Марютка замерла, восхищенно ахая в самых ~~сильных~~ местах рассказа.

Когда поручик описывал крушение робинзоновского корабля, Марютка презрительно повела плечами и спросила:

— Что ж, значит, все, кроме его, потопли?

— Да, все.

— Должно, дурья голова капитан у них был или нализался перед крушением до чертиков. В жизнь не поверю, чтобы хороший капитан всю команду так зря загубил. Сколь у нас на Каспийском этих крушений было, а самое большое — два-три человека потонут, а остальные, глядишь, и спаслись.

— Почему? Утонули же у нас Семянный и Вяхирь. Значит, ты плохой капитан или нализалась ~~перед кру-~~шением?

Марютка оторопела.

— Ишь, поддел, рыба холера! Ну, ~~досказывай!~~

В момент появления Пятницы Марютка опять перебила:

— Вот, значит, почему ты меня Пятницей прозвал-то? Вроде как ты — Робинзон этот самый? А Пятница черный, говоришь, был? Негра? Я негру видала. В цирке в Астрахани был. Волосатый, губы — во! Морда страшная! Мы за им бегали, полы складали и кричим: «На, поешь свиного уха!» Серчал здорово. Каменюгами бросался.

При рассказе о нападении пиратов Марютка свернула глазами на поручика:

— Десятеро на одного? Шпана, рыба холера!

Поручик кончил.

Марютка мечтательно сжалась в комок, прильнув к его плечу. Промурлыкала дремотно:

— Вот хорошо-то. Небось много сказок еще знаешь? Ты мне так каждый день по сказке рассказывай.

— А что? Разве нравится?

— Здорово. Дрожь берет. Так вечера и скоротаем. Все время незаметней.

Поручик зевнул.

— Спать хочешь?

— Нет... Ослабел я после болезни.

— Ах ты слабенький!

Опять подняла Марютка руку и ласково провела по волосам поручика. Он удивленно поднял на нее синие шарики.

От них дохнуло лаской в Марюткино сердце. Забвенно склонилась к исхудалой щеке поручика и вдавила в небритую щетину свои огрубелые и сухие губы.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,

в которой доказывается, что хотя сердце  
закона нет, но сознание все же определяется бытием

Сорок первым должен был стать на Марюткином смертном счету гвардии поручик Говоруха-Отрок.

А стал первым на счету девичьей радости.

Выросла в Марюткином сердце неумемная тяга к поручику, к тонким рукам его, к тихому голосу, а пуще всего к глазам необычайной сини.

От нее, от сини, светлела жизнь.

Забывалось тогда невеселое море Арал, тошнотный вкус рыбьей солони и гнилой муки, расплывалась бесследно смутная тоска по жизни, мечущейся и грохочущей за темными просторами воды. Днем делала обычное дело, пекла лепешки, варила очертевший балык, от которого припухали уже круглыми язвочками десны, изредка выходила на берег высматривать; не закрылись ли косым летом ожидаемый парус.

Вечером, когда скатывалось с повесневшего неба жадное солнце, забивалась в свой угол на нарах, жалась, ластясь, к поручикову плечу. Слушала.

Много рассказывал поручик. Умел рассказывать.

Дни уплывали медленные, маслянистые, как волны.

Однажды, занежась на пороге хибарки, под солнцем, смотря на Марюткины пальцы, с привычной быстротой

обдиравшие чешую с толстенького сазана, сказал поручик, зажмурясь и пожав плечами:

— Хм... Какая ерунда, черт побери!..

— О чем ты, милоч?

— Ерунда, говорю... Жизнь вся — сплошная ерунда. Первичные понятия, внушенные идеи. Вздор! Условные значки, как на топографической карте. Гвардии поручик?.. К черту гвардии поручика. Жить вот хочу. Прожил двадцать семь лет и вижу, что на самом деле вовсе еще не жил. Денег истратил кучу, метался по всем странам в поисках какого-то идеала, а под сердцем все сосала смертная тоска от пустоты, от неудовлетворенности. Вот и думаю: если бы кто-нибудь мне сказал тогда, что самые наполненные дни проведу здесь, на дурацком песчаном блине, посреди дурацкого моря, ни за что бы не поверил.

— Как ты сказал, какие дни-то?

— Самые наполненные. Не понимаешь? Как бы тебе это рассказать понятно? Ну, такие дни, когда не чувствуешь себя враждебно противопоставленным всему миру, какой-то отделенной для самостоятельной борьбы частицей, а совершенно растворяешься в этой вот, — он широко обвел рукой, — земной массе. Чувствую сейчас, что слился с ней нераздельно. Ее дыхание — мое дыхание. Вот прибой дышит: шурф, шурф... Это не он дышит, это я дышу, душа моя, плоть.

Марютка отложила нож.

— Ты вот говоришь по-ученому, не все слова мне явны. А я по-простому скажу — счастливая я сейчас.

— Разными словами, а выходит одно и то же. И сейчас мне кажется: хорошо б никуда не уходить с этого нелепого горячего песка, остаться здесь навсегда, плавиться под мохнатым солнцем, жить зверюгой радостной.

Марютка сосредоточенно смотрела в песок, будто припоминая что-то нужное. Виновато, нежно засмеялась.

— Нет... Ну егори.. Я здесь не осталась бы. Лениво больно, разомлеть под конец можно. Счастья своего и то показать некому. Одна рыба дохлая вокруг. Скорей бы рыбалки на лову собирались. Поди конец марта на носу. Стосковалась я по живым людям.

— А мы разве не живые?

— Живые-то живые, а как муки на неделю осталась самая гниль, да цинга заест, тогда что запоешь? А кроме того, ты возьми в толк, миленький, что время не такое, чтобы на печке сидеть. Там наши поди бьются,

кровь проливают. Каждая рука на счету. Не могу я в таком случае в покое прохладиться. Не затем армейскую клятву давала.

Поручиковы глаза всколыхнулись изумленно.

— Ты что же? Опять в солдаты хочешь?

— А как же?

Поручик молча повертел в руках сухую щепочку, отодранную от порога. Пролил слова ленивым густым ручейком:

— Чудачка! Я тебе вот что хотел сказать, Машенька: очертенела мне вся эта чепуха. Столько лет кровищи и злобищи. Не с пеленок же я солдатом стал. Была когда-то и у меня человеческая, хорошая жизнь. До германской войны был я студентом, филологию изучал, жил милыми моими, любимыми, верными книгами. Много книг у меня было. Три стенки в комнате доверху в книгах. Бывало, вечером за окном туман петербургский сырой лапой хватает людей и разжевывает, а в комнате печь жарко натоплена, лампа под синим абажуром. Сядешь в кресло с книгой и так себя почувствуешь, как вот сейчас, без всяких забот. Душа цветет, слышно даже, как цветы шелестят. Как миндаль весной, понимаешь?

— М-гм,— ответила Марютка, насторожившись.

— Ну, и в один роковой день это лопнуло, разлетелось, помчалось в тартарары... Помню этот день, как сейчас. Сидел на даче, на террасе, и читал, книгу даже помню: Был грузный закат, багровый, заливал все кровавым блеском. С поезда из города приехал отец. В руке газета, сам взволнован. Сказал одно только слово, но в этом слове была ртутная, мертвая тяжесть... Война. Ужасное было слово, кровавое, как закат. И отец прибавил: «Вадим, твой прадед, дед и отец шли по первому зову родины. Надеюсь, ты?..» Он не напрасно надеялся. Я ушел от книг. И ушел ведь искренне тогда...

— Чудило! — кинула Марютка, пожав плечами. — Что же, к примеру, если мой батька в пьяном виде башку об стенку разгвоздил, так и я тоже обязана бабаться? Что-то непонятно мне такое дело.

Поручик вздохнул.

— Да... Вот этого тебе не понять. Никогда на тебе не висел этот груз. Имя, честь рода. Долг... Мы этим дорожили.

— Ну?.. Так я своего батьку, покойника, тоже люблю крепко, а коли ж он пропойца дурной был, то я за его

пятками тюпать не обязана. Послал бы прадедушку к прабабушке!

Поручик криво и зло усмехнулся.

— Не послал. А война доконала. Своими руками живое сердце свое человеческое на всемирном гноище, в паршивой свалке утопил. Пришла революция. Верил в нее, как в невесту... А она... Я за свое офицерство ни одного солдата пальцем не тронул, а меня дезертиры на вокзале в Гомеле поймали, сорвали погоны, в лицо плевали, сортирной жижей вымазали. За что? Бежал, пробрался на Урал. Верил еще в родину. Воевать опять за погранную родину. За погоны свои обесчещенные. Повоевал и увидел, что нет родины, что родина такая же пустошь, как и революция. Обе кровушку любят. А за погоны и драться не стоит. И вспомнил настоящую, единственную человеческую родину — мысль. Книги вспомнил, хочу к ним уйти и зарыться, прощения у них выпросить, с ними жить, а человечеству за родину его, за революцию, за гноище чертово — в харю наплевать.

— Так-с!.. Значит, земля напололам трескается, люди правду ищут, в кровях мучаются, а ты байбаком на лавке за печью будешь сказки читать?

— Не знаю... И знать не хочу! — крикнул иступленно поручик, вскакивая на ноги. — Знаю одно — живем мы на закате земли. Верно ты сказала: «Напололам трескается». Да, трескается, трещит старая сволочь! Вся опустошена, выпотрошена. От этой пустоты и гибнет. Раньше была молодой, плодотворной, неизведанной, манила новыми странами, неисчислимыми богатствами. Кончилось. Больше открывать нечего. Вся человеческая хитрость уходит на то, чтобы сохранить накопление, протянуть еще века, года, минутки. Техника. Мертвые числа. И мысль, обеспокоенная числами, бьется над вопросами истребления. Побольше истребить людей, чтоб оставшимся надолго хватило набить животы и карманы. К черту!.. Не хочу никакой правды, кроме своей. Твои большевики, что ли, правду открыли? Живую человеческую душу ордером и пайком заменить? Довольно! Я из этого дела выпал! Больше не желаю пачкаться!

— Чистотел? Белоручка? Пусть другие за твою милость в дерьме копаются?

— Да! Пусты! Пусть, черт возьми! Другие — кому это нравится. Слушай, Маша! Как только отсюда выбе-

ремся, уедем на Кавказ. Есть у меня там под Сухумом дачка маленькая. Заберусь туда, сяду за книги, и все к черту. Тихая жизнь, покой. Не хочу я больше правды — покоя хочу. И ты будешь учиться. Ведь хочешь же ты учиться? Сама жаловалась, что неученая. Вот и учись. Я для тебя все сделаю. Ты меня от смерти спасла, а это незабвенно.

Марютка резко встала. Прощедила, как ком колючек бросила:

— Значит, мне так твои слова понимать, чтобы завалиться с тобой на пуховике спариваться, пока люди за свою правду надрываются, да конфеты жрать, когда каждая конфета в кровях перепачкана? Так, что ли?

— Зачем же так грубо? — тоскливо сказал поручик.

— Грубо? А тебе все по-нежненькому, с подливочкой сахарной? Нет, погоди! Ты вот большевицкую правду хаял. Знать, говоришь, не желаю. А ты ее знал когда-нибудь? Знаешь, в чем ей суть? Как потом соленым да слезами людскими пропитана?

— Не знаю, — вяло отозвался поручик. — Странно мне только, что ты, девушка, огрубела настолько, что тебя тянет идти громить, убивать с пьяными, вшивыми ордами.

Марютка уперлась ладонями в бедра. Выбросила:

— У них, может, тело завшивело, а у тебя душа насквозь вшивая! Стыдоба меня берет, что с таким связалась. Слизняк ты, мокрица паршивая! «Машенька, уедем на постельке валяться, жить тихонько», — передразнила она. — Другие горбом землю под новь распахивают, а ты? Ах и сукин же сын!

Поручик вспыхнул, упрямо сжал тонкие губы.

— Не смей ругаться!.. Не забывайся ты... хамка!

Марютка шагнула и поднятой рукой наотмашь ударила поручика по худой, небритой щеке.

Поручик отшатнулся, затрясся, сжав кулаки. Выплюнул отрывисто:

— Счастье твое, что ты женщина! Ненавижу... Дрянь!..

И скрылся в хибарке.

Марютка растерянно посмотрела на зудящую ладонь, махнула рукой и сказала неведомо кому:

— Ишь до чего нравный барин! Ах ты, рыба холера!



## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,

в которой поручик Говоруха-Отрок слышит грохот  
погибающей планеты, а автор слагает с себя  
ответственность за развязку

Три дня после ссоры не разговаривали поручик и Марютка. Но не уйдешь друг от друга на острове. И помирила весна. Катилась она дружным, жаропышущим натиском.

Уже давно под ударами золотых копыт лопнула тонкая снежная броня на острове. Стал он мягким, ярко-желтым, канареечным на темном стекле густой воды.

Песок в полдень обжигал ладони, и больно было до него дотронуться.

В грузной синеве золотым пылающим колесом ярилось промытое талыми ветрами солнце.

От солнца, от талого ветра, от начинавшей мучить цинги оба совсем ослабели. Не до ссор было.

По целым дням валялись на берегу в песке, неотрывно смотрели на густое стекло, искали воспаленными глазами паруса.

— Нет больше моего терпения! Ежели через три дня рыбалок не будет, ей-пра, пулю себе пушу! — простонала отчаянно Марютка, вглядываясь в равнодушную тяжелую синь.

Поручик засвистел легонько.

— Меня слизняком и мокрицей называла, а сама сдаешь? Терпи — атаманом будешь! Тебе же одна дорога — в атаманы разбойничьи.

— А ты чего старое поминаешь? Ну и заноза! Было и сплыло. Ругала потому, что стоило ругать. Распалось сердце, что тряпка ты мокрая, цыпленок. А мне и обидно! Навязался же ты на мою голову, смутил, все нутро вытянул, черт синеглазый.

Поручик с хохотком опрокинулся спиной в горячий песок, задрывал ногами.

— Ты чего? Сдурел? — заворошилась Марютка.

Поручик хохотал.

— Эй, чумелый! Да говори же!

Но поручик не унимался, пока Марютка не ткнула кулаком в бок.

Поднялся, вытер смешливые слезинки на ресницах.

— Ну, чего ржешь?

— Хорошая ты девушка, Марья Филатовна. Кого угодно развеселишь. Мертвец с тобой плясать пойдет!

— А то? По-твоему, лучше вихляться, как бревну в полынье, ни к тому бережку, ни к другому? Чтоб самому мутно было и другим тошно?

Поручик снова визгнул смехом. Похлопал Марютку по плечу.

— Исполать тебе, царица амазонская. Пятница моя любезная. Перевернула ты меня, жизненного эликсира влила. Не хочу больше вихляться, как бревно в полынье, по твоему образному словарю. Сам вижу, что рано мне еще думать о возврате к книгам. Нет, пожить еще нужно, поскрипеть зубами, покусаться по-волчьи, чтоб кругом клыки чуяли!

— Что? Неужели в самом деле поумнел?

— Поумнел, голубушка! Поумнел! Спасибо — научила! Если мы за книги теперь сядем, а вам землю оставим в полное владение, вы на ней такого натворите, что пять поколений кровавыми слезами выть будут. Нет, дура ты моя дорогая. Раз культура против культуры, так тут уж до конца. Пока...

Он оборвал, захлебнувшись.

Ультрамариновые шарики уперлись в горизонт, сжались радостным пламенем.

Вытянул руки и сказал тихо, дрогнувшим голосом:

— Парус.

Марютка вскочила, подброшенная внутренним толчком, и увидела:

Далеко-далеко, на индиговой черточке горизонта, вспыхивала, дрожала, колебалась белая искорка — треплемый ветром парус.

Марютка ладонями туго сжала задрожавшую грудь, впилась глазами, не веря еще долгожданному.

Сбоку подпрыгнул поручик, схватил руки, отнял их от груди, заплясал, завертев Марютку вокруг себя.

Плясал, высоко взбрасывая тонкие ноги в изорванных штанах, и пел пронзительно:

Бе-ле-ет па-рус о-ди-но-ки-кий  
В ту-ма-не мо-ря го-лу-бом-бом-бом...  
Бим-бам. Бом-бом,  
Голу-бом!

— Ну тебя, дурной! — вырвалась запыхавшаяся, радостная Марютка.

— Машенька! Дурища моя дорогая, царица амазонская. Спасены ведь! Спасены!

— Черт, шалый! Небось сам теперь захотел с острова в жизнь людскую?

— Захотел, захотел! Я же тебе говорил, что захотел!

— Постой!.. Подать им знак надо! Позвать!

— Чего звать? Сами подъедут.

— А вдруг на другой остров едут? Немаканы говорили: тут островов гибель. Могут мимо пройти. Тащи винтовку из хибары!

Поручик бросился в хибару. Выбежал, высоко взбрасывая винтовку.

— Не дури,— крикнула Марютка. — Жарь три штуки подряд.

Поручик приставил приклад к плечу. Выстрелы глухо рвали стеклянную тишину, и от каждого удара поручик шатался и только сейчас понял, до чего ослабел.

Парус уже был виден ясно. Большой, розовато-желтый, он неся по воде крылом веселой птицы.

— Черт-и-што,— проворчала, вглядываясь, Марютка. — Что оно за суденышко такое? На рыбалку не похоже, здоровое больно.

На судне услышали выстрелы. Парус шатнулся, перелетел на другую сторону и, накренившись, понесся линией к берегу.

Под розово-желтым крылом выплыл из сини черный низкий корпус.

— Не иначе, должно быть, объездчика промыслового бот. Только кто ж на нем мотается в такую пору, не пойму? — бормотала тихонько Марютка.

Саженьях в пятидесяти бот снова лег на левый галс. На корме приподнялась фигура и, приставив руки рупором, закричала.

Поручик дернулся, перегнулся вперед, бросил с маху в песок винтовку и в два прыжка очутился у самой воды. Протянул руки, ополоумело закричал:

— Урр-ра!.. Наши!.. Скорей, господа, скорей!

Марютка воткнула зрачки в бот и увидела... На плечах человека, сидевшего у румпеля, золотом блестели полоски.

Метнулась всполошенной наседкой, задергалась.

Память, полыхнув зарницей в глаза, открыла кусок:

Лед... Синь-вода... Лицо Евсюкова. Слова: «На белых нарветесь нснароком, живым не сдавай».

Ахнула, закусила губы и схватила брошенную винтовку.

Закричала отчаянным криком:

— Эй ты... кадет поганый! Назад!.. Говорю тебе — назад, черт!

Поручик махнул руками, стоя по шиколки в воде.

Внезапно он услышал за спиной оглушительный, торжественный грохот гибнущей в огне и буре планеты. Не успел понять почему, прыгнул в сторону, спасаясь от катастрофы, и этот грохот гибели мира был последним земным звуком для него.

Марютка бессмысленно смотрела на упавшего, бессознательно притопывая зачем-то левой ногой.

Поручик упал головой в воду. В маслянистом стекле расходились красные струйки из раздробленного черепа.

Марютка шагнула вперед, нагнулась. С воплем рванула гимнастерку на груди, выронив винтовку.

В воде на розовой нити нерва колыхался выбитый из орбиты глаз. Синий, как море, шарик смотрел на нее недоуменно-жалостно.

Она шлепнулась коленями в воду, попыталась приподнять мертвую, изуродованную голову и вдруг упала на труп, колотясь, пачкая лицо в багровых сгустках, и завывала низким, гнетущим воем:

— Родненький мой! Что ж я наделала? Очнись, болезный мой! Синегла-азенький!

С врезавшегося в песок баркаса смотрели остолбенелые люди.

*Ленинград, ноябрь 1924 г.*

## КОРОТКАЯ ПОВЕСТЬ О СЕБЕ<sup>1</sup>

Над крутым обрывом правого берега Днепра встают полуразрушенные, густо заросшие дерезой и бурьяном валы старой крепости, построенной в конце XVIII века Суворовым. Когда смотришь с валов на ртутный блеск медленно текущей к морю водной глади, на широкое пространство плавней, на густые заросли камыша, на седые вербы под ериками, — невольно вспоминаешь незабвенные строки: «Чуден Днепр при тихой погоде!»

Возле крепости разлегся по берегу уютный, ласковый город. Обилием зелени он похож на парк, и летом, когда цветут акации, улицы засыпаны душистой шуршащей пеной опавших лепестков, по которым идешь, как по ковру. Имя города — Херсон.

В этом городе я родился 17 июля 1891 года. Родители мои были педагогами и всю жизнь с гордостью несли скромное, но почетное звание просветителей народа — народных учителей.

Предыстория семьи не лишена занимательности. По материнской линии я происхожу из старой казацкой семьи Есауловых, служивших под началом Потемкина и Суворова, участников многих походов, осады и штурма турецкой твердыни Очакова. Моя бабка была единственной наследницей огромного богатства — трех тысяч десятин великолепного чернозема с селом Меловым, в шестидесяти верстах выше Херсона по Днепру. Возле завидной невесты вертелся табун женихов. Но всех их затмил прибывший в Херсон в 1856 году с севастопольских бастионов романтический герой, артиллерийский поручик Ксаверий Цеханович. О нем упоминает во втором томе «Крымской войны» академик Тарле при описании набега англо-французов на Керчь.

Интересный кавалер пленил сердце шестнадцатилетней Дашеньки Есауловой. Родители дали согласие, и Дашеньку обвенчали с лихим поручиком. Герой оказался героем во всех отношениях. Пользуясь влюбленным доверием юной супруги, ничего не смыслившей в житейской прозе, он немедленно убедил ее перевести все состояние на его имя, зажил широко и шумно и, два года спустя сев за игорный стол под крепким градусом, в одну ночь проиграл атаману чумацких обозов Агаркову триста тысяч, ровно столько, сколько стоило по тогдашним ценам бабкино имение. После этого подвига герой скрылся в неизвестном направлении, и след его затерялся в российских просторах. По смутным слухам, он окончательно спился, босячил в Астрахани и кончил буйную жизнь в ночлежке.

Оставшись после бегства героя без гроша, бывшая богатая помещица поступила экономкой в дом предводителя дворянства

<sup>1</sup> Впервые напечатана в первом томе избранных произведений Б. Лавренева в 1958 году (М., Гослитиздат) — за год до смерти писателя.

Журавского и, перебиваясь с хлеба на квас, растила дочь Машеньку.

В десятилетнем возрасте Машеньку отвезли в Полтавский институт благородных девиц. Окончив несложный курс наук в этом инкубаторе «образованных невест», мать получила место учительницы начальной школы в захолустном местечке Бериславе, где и встретила с таким же учителем, своим будущим мужем.

Биография отца также не лишена интереса. В сущности говоря, его происхождение и даже его подлинная фамилия остались нерешенной загадкой. В 1865 году в саях на почтовом тракте Херсон — Николаев были обнаружены трупы мужчины и женщины. По вывернутым сундукам и мешкам, по вырванным с мясом карманам было ясно, что поработали грабители. Никаких документов не оказалось, но в тех же саях под овчинным тулупом обнаружили троих полузамерзших ребят в возрасте от трех до шести лет. Детей привезли в Херсон, и там их разобрали по рукам добрые люди. Моего отца Андрея с сестрой взял чиновник херсонской таможни Сергеев. Дядю Владимира сперва приютил пекарь-турок Дуваноглы, и дядя даже некоторое время носил турецкую фамилию, пока Сергеев не взял и его к себе. Приемный отец оказался хорошим, сердечным человеком и, несмотря на то что сам с трудом сводил концы с концами, довел старшего из приемышей, моего отца, до учительского института. На остальных не хватило средств, да и помешала смерть. Дядя Владимир еще в мальчишеском возрасте встал к станку в кустарной чугунолитейной мастерской Гуревича, сестру же удалось на возрасте выдать за помощника управляющего имением «великого князя» Михаила Николаевича — Литвиненко.

В молодости все трое были рослые красивые brunеты, смуглые, с несколько восточным типом лица и удивительно яркими синими глазами.

После женитьбы отец и мать переехали в родной Херсон, и в год моего появления на свет отец был помощником директора сиротского дома херсонского земства.

Был он талантливым, умным, честным русским человеком, хорошо играл на скрипке, много знал, но в жизни не очень преуспел из-за чрезмерной скромности и подозрительной благонадежности. В конце концов, уже в годы моего студенчества, ему пришлось оставить службу после резкого конфликта с членом земской управы, сиятельным кретином, князем Аргутинским-Долгоруким.

С первых дней и до восемнадцати лет я рос в окружении разбитных и разбойных ребят, питомцев сиротского дома. Если бы в то время мне понадобилось выправить паспорт, в графе особых примет было бы написано: «Постоянно вспухший нос и по лицу синяки и царапины». Это были следы ежедневных кулачных поединков в борьбе за прочное место в суровом и подчас жестоком мире детей, лишенных семейного крова и родительской ласки. Думаю, что отцу удавалось заслужить доверие и уважение своих буйных воспитанников только потому, что он сам прошел тяжелую школу сиротства.

Но в этом странном братстве вырабатывались закаленные и стойкие характеры, не отступающие перед трудностями и опасностями. Я многим обязан в последующем моему пребыванию в этой неугомонной и непокорной среде.

С той поры как я начал сознательно воспринимать окружающее, мою душу властно заполнили две страсти: книги и театр. По счастью, я имел широкие возможности отдаться этим страстям.

Моим крестным отцом был незаурядный и очень культурный человек, в течение долгих лет бессменный городской голова Херсона — Михаил Евгеньевич Беккер, бывший артиллерист и сослуживец Льва Толстого по Севастополю.

При его широкой поддержке в городе возникла необычная для провинции тех времен превосходная общественная библиотека с богатейшим выбором книг. Библиотеку возглавила уважаемая всем городом энтузиастка библиотечного дела В. К. Шейнфинкель. Наряду с разрешенными властями книгами Шейнфинкель создала «секретный фонд», из которого книги выдавались только особо посвященным читателям. Благодаря крестному, я был своим человеком в библиотеке, получив право бесплатного абонемента, без ограничения количества книг. И я читал заоем все, что попадало под руку, от переводных бульварных романов до малодоступных мальчишескому пониманию научных трудов. Как от такого чтения не вывихнулись мозги — до сих пор понять не могу. Особенно увлекали меня книги об открытиях и путешествиях, главным образом морских. В девять лет я наизуток знал географию планеты и мог указать без ошибки любой пункт на слепой карте.

Море я полюбил на всю жизнь с той минуты, когда оно открылось глазам восхищенного пятилетнего мальчика с высоты Байдарских ворот в могучей вольной своей красе и необъятном просторе. Мать никак не могла увести меня с обрыва, над которым я застыл, околдованный неотразимым обаянием синей бездны.

С театром мне тоже повезло. В те времена ученикам средних учебных заведений посещение театров разрешалось очень редко. Только на детские утренники да на некоторые сугубо патристические пьесы и немногие вещи классического репертуара разрешалось продавать «ученические» билеты. Но и классический репертуар находился под подозрением.

«Макбет» и «Гамлет» были под запретом, поскольку «могли оказывать развращающее влияние на умы юношества открытым показом сцен покушений и убийств царственных особ и соблазнительными любовными картинами».

Но у крестного, по положению городского головы, была своя ложа у самой сцены. Мне было разрешено пользоваться ею когда захочется. Я забирался в ложу за полчаса до начала спектакля и, скрытый бархатной портьерой от бдительных очей классных надзирателей, замирая, смотрел страшные мелодрамы, вроде «Убийство Коверлей», с демоническими страстями, роковыми треугольниками, бешеной ревностью, револьверными выстрелами и отравленными кинжалами. В антрактах проскальзывал за кулисы, знакомился с кумирами зрительного зала и хвастал своей «дружкой» с ними.

В херсонском театре всегда были доброкачественные, с крепким актерским составом драматические труппы. Особенно в сезонах 1903—1905 годов, когда в театре работало «Товарищество драматических актеров». Тогда я впервые увидел молодого Москнина в роли царя Федора, Мейерхольда в «Бранде» и в «Смерти Ивана Грозного» (царь Иван) и Кошеверова в «Борисе Годунове». Близость с театром в детские и юношеские годы очень пригодилась впоследствии в драматургической работе.

До поступления в гимназию моим начальным образованием занимался отец. Наряду с грамотой и арифметикой он стал планомерно обучать меня физическому труду. Сам он был отличным умельцем-токарем и столяром. Большая часть нашей мебели была сделана

его руками. На веранде у нас стояли верстак и токарный станок, и, обучая меня приемам ремесла, отец говорил:

«Во-первых, запомни, что ручной труд — благородное дело, и не верь дураку, который скажет, что это «мужицкое», низкое занятие. Во-вторых, запомни, что в какое бы трудное положение ты ни попал в жизни, — зная ремесло, всегда найдешь заработок. И в-третьих, у тебя будет радостное сознание, что твои руки делают полезные вещи и ты не беспомощный хлюпик».

Я твердо запомнил добрые отцовские советы и, кроме столярного и токарного мастерства, овладел в дальнейшем специальностями электромонтера, слесаря и переплетчика. Я навсегда остался благодарен отцу за науку. Что бы ни случилось у меня в доме, мне не приходится звать «варягов». С непорядками и авариями я справляюсь сам, и мне смешны люди, беспомощно опускающие руки, когда у них перегорит предохранительная пробка.

В 1901 году я стал гимназистом первого класса Херсонской первой мужской гимназии. В основном я вспоминаю ее добром. Среди наших педагогов были люди достойные, образованные, с любовью старавшиеся нагрузить наши молодые головы знаниями. Среди них особенно выделялся талантливый преподаватель истории Николай Ананьевич Волянский.

Но были среди педагогов и человеческие отбросы гнусная дрянь, жандармы и садисты по призванию. К счастью, таких было совсем немного.

Учился в гимназии я посредственно, хотя мог бы и отлично. Но пятерки меня не прельщали. До гимназии я столько перечитал, что ничего нового и увлекательного она мне дать не могла. А все свободное время занимал театр, и на приготовление уроков не оставалось часа.

Был у меня в гимназические годы настоящий сердечный друг, сын английского консула Володя Каруана. Дом Каруана был своего рода небольшим музеем с хорошими картинами и скульптурами, с разными древностями, с массой книг по искусству. Там я вошел в атмосферу мирового искусства, близко познакомился с его гениями и приобрел дополнительные знания по истории всемирной культуры и искусства. Но в первый же год мировой войны Володя уехал в Англию в школу летчиков и неожиданно, нелепо погиб от разразившейся эпидемии менингита.

При переходе из пятого в шестой класс я получил годовую двойку по алгебре, а следственно, и осеннюю перезачаменовку. Отец печально просмотрел мою «четверть» и, покачав головой, сказал «Будешь босяком наподобие деда!»

Это меня смертельно обидело. Я решил уйти из дома и решение это осуществил. Разными хитростями я умудрился уйти в заграничный рейс из Одессы на пароходе «Афон». В Александрии сошел с парохода в намерении поступить матросом на какой-нибудь корабль, идущий в Гонолулу. Но таких кораблей не было. Небольшую сумму денег я быстро проел на восточные сладости, с голода таскал бананы у торговки на рынке и, вероятно, кончил бы плохо, если бы судьба не послала мне спасителя в лице старого механика французского стимера, который устроил меня палубным юнгой. Я плавал два месяца, пока меня не сняли с палубы в Бриндизи два расфуфыренных, как индюки, итальянских карабинера, и с курьером консульства я был отправлен в Россию. История этого побега много лет спустя вошла в рассказ «Марина».



Но это плавание разбредило мою любовь к морю, и я решил обязательно стать моряком. Благополучно перейдя в седьмой класс, я уговорил родителей согласиться на мое поступление в морской корпус. Как раз недавно было отпраздновано пятидесятилетие обороны Севастополя, и в числе прочих льгот потомкам севастопольцев было дано право поступления в корпус в первую очередь, на казенный счет. Добыв послужного список моего «геройского» деда, я отправился в Петербург. Но там меня ждала беда. Я споткнулся на испытании зрения и был отведен, хотя блистательно провалившийся на том же испытании титулованный слепец князь Ширинский-Шихматов был беспрепятственно принят. Мне же пришлось несолоно хлебавши сесть снова за гимназическую парту. Но я не сдался. Достал все программы и учебники гардемаринских классов и с помощью штурмана дальнего плавания, преподавателя Херсонского мореходного училища, одолел параллельно с гимназическими и морские науки, проплавав лето на учебной шхуне.

В 1909 году я поступил на юридический факультет Московского университета и благополучно окончил его в 1915 году. Счастливая мама уже видела меня в будущем «крупным общественным деятелем». К счастью, я им не стал. Шла мировая война, и, движимый не слишком продуманным патриотизмом, я сменил кодексы Юстиниана и Наполеона на таблицы артиллерийской стрельбы. Сначчи и других мастеров пушечного дела.

Время, проведенное на войне, стало для меня высшей жизненной академией. Там я впервые вошел в тесное соприкосновение с русским солдатом, с полным внутреннего благородства, теплым, сердечным, правдивым простым русским человеком, мучеником и страстотерпцем удушливого и несправедливого строя царской России. Этот простой душевный человек в замызанной солдатской шинельке, подбитой ветром, в сапогах на картонной подошве, доблестно ходивший без снарядов и патронов в безнадежные атаки на вооруженную до зубов кайзеровскую машину, устилающая поля боя тысячами бесполезно загубленных жизней, продаваемый и предаваемый прохвостами всех мастей, стал для меня лучшим учителем жизни и правды.

Февральскую революцию я встретил в Москве. Был комендантом штаба революционных войск московского гарнизона, а затем до Октября адъютантом коменданта Москвы генерал-майора Голицынского. Милейший старик, ученый профессор Академии Генштаба, один из немногих культурных генералов старой армии, он до того был подавлен вихрем событий, что каждый день спрашивал у своих зеленых офицериков: «Господа, ну а что же будет дальше? Объясните, пожалуйста!» Но, конечно, мы сами не очень годились в учителя.

Октябрь на некоторое время выбил меня из колен. Собственно, не сам Октябрь, а то, что за ним последовало. Демобилизация армии при незаконченной войне, резкие эксцессы, порожденные накипевшей свинцовой ненавистью солдатской массы к любому носителю офицерских погон, немецкое наступление на Украину, Брестский мир, трагическая гибель Черноморского флота — все это показалось мне непоправимой катастрофой, окончательной гибелью России. Я не мог разобраться в политике большевиков, хотя она привлекала меня уже тем, что большевики не продавали и не собирались распродавать родину оптом и в розницу, наплевав на национальное достоинство, англо-французам, германо-американцам и прочей хищной сволочи, тянувшей лапы к народному достоянию и народной чести.

В растерянном душевном состоянии, с трудом и риском я пробыл в сентябре 1918 года в родной Херсон. В дороге услышал об убийстве Урицкого и покушении на Ленина. Индивидуальный террор казался мне всегда проявлением истерической глупости и недомыслия, и это известие очень взволновало меня. В 1917 году 4 июля мне удалось слышать коротенькую речь Владимира Ильича, сказанную им кронштадтским морякам с балкона дворца Кшесинской. Эта речь произвела на меня громадное впечатление силой внутренней убежденности, неотразимой точностью мыслей, величием души и ума Ленина.

С полной откровенностью я рассказал отцу о своих сомнениях и колебаниях и спросил: «Что же мне делать, папа?»

Отец несколько минут сидел в задумчивости, пощипывая седеющую бородку, потом поднял уже поблекшие от времени синие глаза и произнес слова, которые определили мое поведение на всю жизнь:

«Видишь ли, сынок!.. Самое святое, что есть у человека, — это родина и народ. А народ всегда прав. И если тебе даже покажется, что твой народ сошел с ума и вслепую несется к пропасти, никогда не подымай руку против народа. Он умнее нас с тобой, умнее всякого. У него глубинная народная мудрость, и он найдет выход даже на краю пропасти. Иди с народом и за народом до конца!.. А народ сейчас идет за большевиками. И, видно, другого пути у него сейчас быть не может!»

Я увидел в глазах отца слезы и крепко обнял старика. Весной я пустился в обратный путь в Москву. Недолго работал в Наркомпроде. В ноябре увидел на Красной площади первый парад новорожденной Красной Армии и понял: раз есть армия, значит — есть организация, государство, крепкая народная власть. Все пришло в ясность, и через месяц я уже был в рядах Красной Армии. Участвовал в боях на Украине и в Крыму. В июле 1919 года был ранен при ликвидации «бандитской империи» атамана Зеленого. Выздоровев, уехал на Туркфронт. По здоровью со строевой службы был переведен на политработу, был заместителем редактора фронтовой газеты и одновременно заведовал литературным отделом «Туркестанской правды».

Мне удалось в армии работать под руководством таких необыкновенно обаятельных и блестящих людей, как Николай Ильич Подвойский и Михаил Васильевич Фрунзе. Под их влиянием формировалось мое сознание, и я вспоминаю их с неизменной благодарностью и уважением.

В 1924 году я демобилизовался, и с этого момента начинается моя профессиональная писательская биография. Но о ней гораздо лучше и полнее рассказывает написанное мной за тридцать пять лет, и я заканчиваю этой страницей короткую повесть о себе.

## СОДЕРЖАНИЕ

РАЗЛОМ . . . . .	5
СОРОК ПЕРВЫЙ . . . . .	75
<i>Короткая повесть о себе</i> . . . . .	122

*Борис Андреевич Лавренев*

### РАЗЛОМ СОРОК ПЕРВЫЙ

Заведующий редакцией Н. П. Утехин. Редактор А. Г. Казакова. Художник Ж. В. Ефимовский. Художественный редактор Б. Г. Смирнов. Технический редактор А. В. Семенова. Корректор И. В. Левтонова

ИБ № 2528

Сдано в набор 14.01.83. Подписано к печати 26.04.83. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага газетная. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 6,72. Усл. кр.-отт. 7,04. Уч.-изд. л. 6,90. Тираж 200 000 экз. Зак. № 768. Цена 30 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

